



Ирина Владимировна Одоевцева
На берегах Невы
Серия «Мемуарная диалогия», книга 1

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=123055
На берегах Невы. На берегах Сены: АСТ, Астрель ; Москва; 2011
ISBN 978-5-17-054913-9, 978-5-403-01617-9

Аннотация

Ирина Одоевцева.

Любимая ученица Николая Гумилева. Яркий человек, поэтесса и писательница. Но прежде всего – одна из лучших мемуаристок первой волны русской эмиграции, истинная свидетельница эпохи, под легким и острым пером которой буквально оживают великие поэты и прозаики Серебряного века.

«На берегах Невы» – первая книга легендарных воспоминаний, посвященная жизни литературного, музыкального и художественного Петрограда в страшный, переломный, трагический период Октябрьского переворота и послереволюционных лет.

Содержание

Предисловие	4
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Ирина Владимировна Одоевцева На берегах Невы

Посвящаю свою книгу Анне Колоницкой

На берегах Невы

Несется ветер, разрушеньем вея...

Георгий Иванов

Предисловие

Это не моя автобиография, не рассказ о том,

Какой я была,
Когда здесь на земле жила...

Нет. И для меня: «Воспоминания, как острый нож они». Ведь воспоминания всегда regrets ou remords¹, а я одинаково ненавижу и сожаление о прошлом, и угрызения совести. Недаром я призналась в стихах:

Неправда, неправда, что прошлое мило.
Оно как разверстая жадно могила,
Мне страшно в него заглянуть...

Нет, я ни за что не стала бы описывать свое «детство, отрочество и юность», своих родителей и, как полагается в таких воспоминаниях, несколько поколений своих предков – все это никому не нужно.

Я пишу не из эгоистического желания снова окунуться в те трагические, страшные и прекрасные, несмотря на все ужасы, первые пореволюционные годы.

Я пишу не о себе и не для себя, а о тех, кого мне было дано узнать «на берегах Невы». Я пишу о них и для них.

О себе я стараюсь говорить как можно меньше и лишь то, что, так или иначе, связано с ними.

Я только глаза, видевшие их, только уши, слышавшие их.

Я одна из последних, видевшая и слышавшая их, я только живая память о них.

Авторы воспоминаний обыкновенно клянутся и божатся, что все, о чем они рассказывают, – чистейшая, стопроцентная правда – и тут же делают ошибки за ошибками.

Я не клянусь и не боюсь.

Очень возможно, что и у меня найдутся ошибки и неточности. Я совсем не претендую на непогрешимость, граничащую со святостью.

Но я утверждаю, что пишу совершенно честно и правдиво.

Многих удивляет, что я так точно, так стенографично привожу слова и разговоры. Как могла я все так точно запомнить? А не сочиняю ли я их? Нет ли в моих воспоминаниях больше Dichtung, чем Wahrheit?²

¹ Сожаления или угрызения совести (*фр.*).

² Воображение... правда (*нем.*).

Но положи руку на сердце я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня действительно прекрасная. Я помню слово в слово то, что слышала сорок – и даже больше – лет тому назад.

Впрочем, по-моему, в этом нет ничего поразительного. Спросите кого-нибудь из ваших пожилых знакомых, как он держал выпускные экзамены или как шел в первый бой, и вы получите от него самый – до мелочей – точный ответ.

Объясняется это тем, что в тот день и час внимание его было исключительно напряжено и обострено и навсегда запечатлело в его памяти все происходившее.

Для меня в те годы каждый день и час был не менее важен, чем экзамен или первый бой.

Мое обостренное, напряженное внимание регистрировало решительно все и на всю жизнь записало в моей памяти даже незначительные события.

Все же приведу пример моей памяти.

Как-то, совсем недавно, я напомнила Георгию Адамовичу о забавном эпизоде его детства. Он и его сестра Таня «выживляли» большого игрушечного льва, по утрам потихоньку вливая ему в пасть горячий чай и суя в нее бутерброды. До тех пор, пока, к их восторгу, лев не задергал головой и не «выживился». Но тут-то он и лопнул пополам и залил ковер своим содержимым.

Георгий Адамович, сосредоточенно сдвинув брови, слушал меня.

– Что-то такое было... Мы действительно, кажется, «выживляли» льва, – неуверенно проговорил он. – Да, да! Но, скажите, откуда вам это известно?

– Как откуда? Ведь вы сами рассказывали мне о «выживлении» картонного льва в июле тысяча девятьсот двадцать второго года у вас на Почтамтской, и как вы впервые были с вашей француженкой в Опере на «Фаусте» и она, указывая на Мефистофеля, вздохнула: «*Il me rappelle mon Polonais!*»³

Адамович кивнул:

– Да. Все это так и было. Теперь и я вспомнил. Но как странно – вы помните случаи из моего детства, которые я забыл, – и прибавил улыбаясь: – Я могу засвидетельствовать, что вы действительно все помните, решительно все, – можете сослаться на меня...

Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь, не преувеличиваю ли я? Были ли они – те, о ком я пишу, – действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими «в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия», оттого что поэтов я тогда считала почти полубогами?

Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь относиться к ним критически и не скрываю их теневых сторон.

Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилева, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах.

Да, я восхищалась ими. Я любила их. Но ведь любовь помогает узнать человека до конца – и внешне, и внутренне. Увидеть в нем то, чего не могут разглядеть равнодушные, безучастные глаза.

Зинаида Гиппиус часто повторяла: «Когда любишь человека, видишь его таким, каким его задумал Бог».

Возможно, что и для меня сквозь их земные оболочки просвечивал их образ, задуманный Богом.

Я согласна с Габриелем Марселем, что «любовь дарует бессмертие» и что, произнося: «Я тебя люблю», – тем самым утверждаешь: «Ты никогда не умрешь».

Не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить и помнить тебя.

³ Он мне напоминает моего поляка! (фр.)

Я пишу эти воспоминания с тайной надеждой, что вы, мои читатели, полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и в сердцах.

И тем самым подарите им бессмертие.

Вы, мои современники, и вы, те, кто будет читать, – я и на это самоуверенно надеюсь – «На берегах Невы», когда меня уже давно не будет на свете.

Ноябрь 1918 года.

Огромные ярко-рыжие афиши аршинными буквами объявляют на стенах домов Невского об открытии Института живого слова и о том, что запись в число его слушателей в таком-то бывшем великокняжеском дворце на Дворцовой набережной.

В зале с малахитовыми колоннами и ляпис-лазуревыми вазами большой кухонный стол, наполовину покрытый красным сукном. За ним небритый товарищ в кожаной куртке, со свернутой из газеты козьей ножкой в зубах. Перед столом длинный хвост – очередь желающих записаться.

Запись происходит быстро и просто. Но вот уже моя очередь. Товарищ в кожаной куртке спрашивает:

– На какое отделение, товарищ?

– Поэтическое, – робко отвечаю я.

– Литературное, – поправляет он. И критически оглядев меня: – А не на театральное ли? Но так и запишем. Имя, фамилия?

Я протягиваю ему свою труднижку, но он широким жестом отстраняет ее.

– Никаких документов. Верим на слово. Теперь не царские времена. Языки иностранные знаете?

От удивления я не сразу отвечаю.

– Ни одного не знаете? Значения не имеет. Так и запишем.

Но я, спохватившись, быстро говорю:

– Знаю. Французский, немецкий и английский.

Он прищуривает левый глаз.

– Здорово! А вы не заливаете? Действительно знаете? Впрочем, значения не имеет. Но так и запишем. И чего вы такая пугливая? Теперь не те времена – никто не обидит. И билета вам никакого не надо. Приняты, обучайтесь на здоровье. Поздравляю, товарищ!

Я иду домой на Бассейную, 60. Я чувствую, что в моей жизни произошел перелом. Что я уже не та, что вчера вечером и даже сегодня утром.

Институт живого слова.

Нигде и никогда за все годы в эмиграции мне не приходилось читать или слышать о нем.

Я даже не знаю, существует ли он еще.

Скорее всего он давно окончил свое существование.

Но был он одним из самых фантастических, очаровательных и абсолютно нежизнеспособных явлений того времени.

Его основатель и директор Всеволод Гернгросс-Всеволодский горел и пылал священным огнем и заражал своим энтузиазмом слушателей «Живого слова».

Я никогда не видела его на сцене. Думаю, что он был посредственным актером.

Но оратором он был великолепным. С первых же слов, с первого же взмаха руки, когда он, минув ступеньки, как тигр, вскакивал на эстраду, он покорял аудиторию.

О чем он говорил? О высоком призвании актера, о святости служения театральному делу. О том, что современный театр зашел в тупик и безнадежно гибнет. О необходимости спасти театр, вывести его на большую дорогу, преобразить, возродить, воскресить его.

Вот этим-то спасением, преображением, возрождением театра и должны были заняться – под мудрым водительством самого Всеволодского – собравшиеся здесь слушатели «Живого слова».

Всеволодский, подхваченный неистовым порывом вдохновения и красноречия, метался по эстраде, то подбегал к самому ее краю, то, широко раскинув руки, замирал, как пригвожденный к стене.

Обещания, как цветочный дождь, сыпались на восхищенных слушателей.

– Вы будете первыми актерами не только России, но и мира! Ваша слава будет греметь! Отовсюду будут съезжаться смотреть и слушать вас! Вы будете чудом, немеркнущим светом! И тогда только вы поймете, какое счастье было для вас, что вы поступили в «Живое слово»...

Слушателей охватывала дрожь восторга. Они верили в свое непостижимо прекрасное будущее, они уже чувствовали себя всемирными преобразователями театра, увенчанными лучами немеркнущей славы.

Всеволодский был не только директором «Живого слова», но и кумиром большинства слушателей – тех, что стремились стать актерами. Кроме них, хотя и в несравненно меньшем количестве, были стремившиеся стать поэтами и ораторами.

Лекции пока что происходят в Тенишевском училище, но «Живое слово» в скором времени собирается переехать в здание Павловского института на Знаменской.

В будущую пятницу лекция Гумилева. Стихов Гумилева до поступления в «Живое слово» я не знала, а те, что знала, мне не нравились.

Я любила Блока, Бальмонта, Ахматову.

О том, что Гумилев был мужем Ахматовой, я узнала только в «Живом слове». Вместе с прочими сведениями о нем – Гумилев дважды ездил в Африку, Гумилев пошел добровольцем на войну, Гумилев в то время, когда все бегут из России, вернулся в Петербург из Лондона, где был прекрасно устроен. И наконец, Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Ане Энгельгардт. На дочери того самого старого профессора Энгельгардта, который читает у нас в «Живом слове» китайскую литературу.

– Неужели вы не слышали? Не знаете? А еще стихи пишете...

Нет, я не знала. Не слыхала.

Первая лекция Гумилева в Тенишевском училище была назначена в пять.

Но я пришла уже за час, занять место поближе.

Зал понемногу наполняется разношерстной толпой. Состав аудитории первых лекций был совсем иной, чем впоследствии. Преобладали слушатели почтенного и даже чрезвычайно почтенного возраста. Какие-то дамы, какие-то бородатые интеллигенты вперемежку с пролетариями в красных галстуках. Все они вскоре же отпали и, не получив, должно быть, в «Живом слове» того, что искали, перешли на другие курсы.

Курсов в те времена было великое множество – от переплетных и куроводства до изучения египетских и санскритских надписей. Учиться – и даром – можно было всему, что только пожелаешь.

Пробило пять часов. Потом четверть и половину шестого. Аудитория начала проявлять несомненные признаки нетерпения – кашлять и стучать ногами.

Всеволодский уже два раза высказывал на эстраду объявлять, что лекция состоится, непременно состоится:

– Николай Степанович Гумилев уже вышел из дома и сейчас, сейчас будет. Не расходитесь! Здесь вы сидите в тепле. Здесь светло и тепло. И уютно. А на улице холод, и ветер, и дождь. Черт знает, что творится на улице. И дома ведь у вас тоже нетоплено и нет света. Одни коптилки, – убедительно уговаривал он. – Не расходитесь!

Но публика, не внимая его уговорам, начала понемногу расходиться. Моя соседка слева, нервная дама с вздрагивающим на носу пенсне, шумно покинула зал, насмешливо кивнув мне:

– А вы что, остаетесь? Перезимовать здесь намерены?

Мой сосед слева, студент, резонно отвечает ей:

– Столько уже ждали, можем и еще подождать. Тем более что торопиться абсолютно некуда. Мне по крайней мере.

– И мне, – как эхо вторю я.

Я действительно готова ждать хоть до утра. Всеволодский, надрываясь, старается удерживать слушателей:

– Николай Степанович сейчас явится! Вы пожалеете, если не услышите его первую лекцию. Честное слово...

Не знаю, как другие, но я, несомненно, очень жалела бы, если бы не услышала первой лекции Гумилева.

– Он сейчас явится!..

И Гумилев действительно явился.

Именно «явился», а не пришел. Это было странное явление. В нем было что-то театральное, даже что-то оккультное. Или, вернее, это было явление существа с другой планеты. И это все почувствовали – удивленный шепот прокатился по рядам.

И смолк.

На эстраде, выскользнув из боковой дверцы, стоял Гумилев. Высокий, узкоплечий, в оленьей дохе с белым рисунком по подолу, колыхавшейся вокруг его длинных худых ног. Ушастая оленья шапка и пестрый африканский портфель придавали ему еще более необыкновенный вид.

Он стоял неподвижно, глядя прямо перед собой. С минуту? Может быть, больше, может быть, меньше. Но мне показалось – долго. Мучительно долго. Потом двинулся к лекторскому столику у самой рампы, сел, аккуратно положил на стол свой пестрый портфель и только тогда обеими руками снял с головы – как митру – свою оленью ушастую шапку и водрузил ее на портфель.

Все это он проделал медленно, очень медленно, с явным расчетом на эффект.

– Господа, – начал он гулким, уходящим в небо голосом, – я предполагаю, что большинство из вас поэты. Или, вернее, считают себя поэтами. Но я боюсь, что, прослушав мою лекцию, вы сильно поколеблетесь в этой своей уверенности.

Поэзия совсем не то, что вы думаете, и то, что вы пишете и считаете стихами, вряд ли имеет к ней хоть отдаленное отношение.

Поэзия такая же наука, как, скажем, математика. Не только нельзя (за редчайшим исключением гениев, которые, конечно, не в счет) стать поэтом, не изучив ее, но нельзя даже быть понимающим читателем, умеющим ценить стихи.

Гумилев говорит торжественно, плавно и безапелляционно. Я с недоверием и недоумением слушаю и смотрю на него.

Так вот он какой. А я и не знала, что поэт может быть так не похож на поэта. Блок – его портрет висит в моей комнате – такой, каким и должен быть поэт. И Лермонтов, и Ахматова...

Я по наивности думала, что поэта всегда можно узнать.

Я растерянно гляжу на Гумилева.

Острое разочарование – Гумилев первый поэт, первый живой поэт, которого я вижу и слышу, и до чего же он не похож на поэта!

Впрочем, слышу я его плохо. Я сижу в каком-то бессмысленном оцепенении. Я вижу, но не слышу. Вернее, слышу, но не понимаю.

Мне трудно сосредоточиться на сложной теории поэзии, развиваемой Гумилевым. Слова скользят мимо моего сознания, разбиваются на звуки.

И не значат ничего...

Так вот он какой, Гумилев! Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова, с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределенного цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжелыми веками совершенно плоские глаза.

Пепельно-серый цвет лица. Узкие бледные губы. Улыбается он тоже совсем особенно. В улыбке его что-то жалкое и в то же время лукавое. Что-то азиатское. От «идола металлического», с которым он сравнивал себя в стихах:

Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Но улыбку его я увидела гораздо позже. В тот день он ни разу не улыбнулся.

Хотя на «идола металлического» он все же и сейчас похож... Он сидит чересчур прямо, высоко подняв голову. Узкие руки с длинными ровными пальцами, похожими на бамбуковые палочки, скрещены на столе. Одна нога заброшена на другую. Он сохраняет полную неподвижность. Он, кажется, даже не мигает. Только бледные губы шевелятся на его застывшем лице.

И вдруг он резко меняет позу. Вытягивает левую ногу вперед. Прямо на слушателей.

– Что это он свою дырявую подметку нам в нос тычет? Безобразие! – шепчет мой сосед-студент.

Я шикаю на него.

Но подметка действительно дырявая. Дырка не посередине, а с краю. И полкаблука сбито, как ножом срезано. Значит, у Гумилева неправильная, косящая походка. И это тоже совсем не идет поэту.

Он продолжает торжественно и многословно говорить. Я продолжаю не отрываясь смотреть на него.

И мне понемногу начинает казаться, что его косые плоские глаза светятся особенным таинственным светом.

Я понимаю, что это о нем, конечно, о нем Ахматова писала:

И загадочных, темных ликов
На меня поглядели очи...

Ведь она была его женой. Она была влюблена в него.

И вот уже я вижу совсем другого Гумилева. Пусть некрасивого, но очаровательного. У него действительно иконописное лицо – плоское, как на старинных иконах, и такой же двоящийся загадочный взгляд. Раз он был мужем Ахматовой, он, может быть, все-таки «похож на поэта»? Только я сразу не умею разглядеть. Гумилев кончил. Он, подняв голову, выжидательно оглядывает аудиторию.

– Ждет, чтоб ему аплодировали, – шепчет мой сосед студент.

– Может быть, кому-нибудь угодно задать мне вопрос? – снова раздаётся гулкий, торжественный голос.

В ответ молчание. Долго длящееся молчание. Ясно – спрашивать не о чем.

И вдруг из задних рядов звенящий, насмешливо-дерзкий вопрос:

– А где всю эту премудрость можно прочесть?

Гумилев опускает тяжелые веки и задумывается, затем, будто всесторонне обдумав ответ, важно произносит:

– Прочсть этой «премудрости» нигде нельзя. Но чтобы подготовиться к пониманию этой, как вы изволите выражаться, премудрости, советую вам прочсть одиннадцать книг натурфилософии Кара.

Мой сосед студент возмущенно фыркает:

– Натурфилософия-то тут при чем?

Но ответ Гумилева явно произвел желаемое впечатление. Никто больше не осмелился задать вопрос.

Гумилев, выждав немного, молча встает и, стоя лицом к зрителям, обеими руками возлагает себе на голову, как корону, оленью шапку. Потом поворачивается и медленно берет со стола свой пестрый африканский портфель и медленно шествует к боковой дверце.

Теперь я вижу, что походка у него действительно косолапая, но это не мешает ее торжественности.

– Шут гороховый! Фигляр цирковой! – возмущаются за мной. – Самоедом вырядился и ломается!

– Какая наглость, какое неуважение к слушателям! Ни один профессор не позволил бы себе... – негодует мой сосед-студент.

– Я чувствую себя лично оскорбленной, – клоочет седая дама. – Как он смеет? Кто он такой, подумаешь!

– Тоже, африканский охотник выискался. Все врет, должно быть. Он с виду вылитый консistorский чиновник и в Африке не бывал... Брехня!

Это последнее, что доносится до меня. Я бегу против ветра, только бы не слышать отвратительных возмущенных голосов, осуждающих поэта. Я не с ними, я с ним, даже если он и не такой, как я ждала...

Много месяцев спустя, когда я уже стала «Одоевцева, моя ученица», как Гумилев с гордостью называл меня, он со смехом признался мне, каким страданием была для него эта первая в его жизни, злосчастная лекция.

– Что это было! Ах, Господи, что это было! Луначарский предложил мне читать курс поэзии и вести практические занятия в «Живом слове». Я сейчас же с радостью согласился. Еще бы! Исполнилась моя давнишняя мечта – формировать не только настоящих читателей, но, может быть, даже и настоящих поэтов. Я вернулся в самом счастливом настроении. Ночью проснувшись, я вдруг увидел себя на эстраде – все эти глядящие на меня глаза, все эти слушающие меня уши – и похолодел от страха. Трудно поверить, а правда. Так до утра и не заснул.

С этой ночи меня стала мучить бессонница. Если бы вы только знали, что я перенес! Я был готов бежать к Луначарскому отказаться, объяснить, что ошибся, не могу... Но гордость удерживала. За неделю до лекции я перестал есть. Я репетировал перед зеркалом свою лекцию. Я ее выучил наизусть.

В последние дни я молился, чтобы заболеть, сломать ногу, чтобы сгорело Тенишевское училище – все, все, что угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.

Я вышел из дома, как идут на казнь. Но войти в подъезд Тенишевского училища я не мог решиться. Все ходил взад и вперед с сознанием, что гибну. Оттого так и опоздал.

На эстраде я от страха ничего не видел и не понимал. Я боялся споткнуться, упасть или сесть мимо стула на пол. То-то была бы картина!

Я принес с собой лекцию и хотел читать ее по рукописи. Но от растерянности положил шапку на портфель, а снять ее и переложить на другое место у меня уже не хватило сил.

О Господи, что это был за ужас! Когда я заговорил, стало немного легче. Память не подвела меня. Но тут вдруг запрыгало проклятое колено. Да как! Все сильнее и сильнее.

Пришлось, чтобы не дрыгало, вытянуть ногу вперед. А подметка у меня дырявая. Ужас! Не знаю, не помню, как я кончил. Я сознавал только, что я навсегда опозорен. Я тут же решил, что завтра же уеду в Бежецк, что в Петербурге после такого позора я оставаться не могу.

И зачем только я про одиннадцать книг натурфилософии брякнул? От страха и стыда, должно быть. В полном беспамятстве.

– Но у вас был такой невероятно самоуверенный, важный тон и вид, – говорю я.

Гумилев весь трясется от смеха.

– Это я из чувства самосохранения перегнул палку. Как тот чудак, который, помните:

На чердаке своем повесился
Из чувства самосохранения.

Нет, правда, все это больше всего походило на самоубийство. Сплошная катастрофа. Самый страшный день моей жизни.

Я, вернувшись домой, поклялся себе никогда больше лекций не читать. – Он разводит руками. – И, как видите, клятвы не сдержал. Но теперь, когда у меня часто по две лекции в день, мне и в голову не приходит волноваться.

И чего, скажите, я так смертельно трусил?

Январь 1919 года. Голодный, холодный, снежный январь. Но до чего интересно, до чего весело! В «Живом слове» лекции сменялись практическими занятиями и ритмической гимнастикой по Далькрозу. Кони возглавлял ораторское отделение, гостеприимно приглашая всех на свои лекции и практические занятия.

Я поступила, конечно, на литературное отделение. Но занималась всем, чем угодно, и кроме литературы: слушала Луначарского, читавшего курс эстетики, Кони, самого Всеволодского и делала ритмическую гимнастику.

Гумилев, со времени своей лекции еще перед Рождеством, в Тенишевском училище ни разу не показывался.

Независимо от отделения, на которое они поступили, всем слушателям ставили голос и всех учили театральной дикции актеры Александрийского театра – Юрьев, Железнова, Студенцов и, главное, Всеволодский. Я благодаря своей картавости попала в дефективную группу к «великому исправителю речевых недостатков» актеру Берлинду. Он при первом же знакомстве со мной, желая, должно быть, заставить меня энергичнее взяться за работу, заявил мне:

– Посмотреть на вас, пока молчите, – да, конечно... А как заговорите, вы просто для меня горбунья, хромоножка. Одним словом – уродка. Но не впадайте в отчаяние. Я помогу вам. Я переделаю вас. Обещаю. Я вами специально займусь.

Обещание свое ему исполнить не удалось. Я так на всю жизнь и осталась «горбуньей, хромоножкой, одним словом – уродкой». Впрочем, по своей, а не по его вине. К «исправительным упражнениям» я относилась без должной настойчивости и не соглашалась сто раз подряд выкрикивать звонко: «Де-те-те-де, де-те-те-де-раа. Рак, рыба роза-ра!» – в то время, как рядом со мной другие «дефективники» по-змеиному шипели: «Ш-ш-ш-шило-шут!» Или распевали: «Ло-ло-ло-ла-лук-луна-ложь!»

Я, к огорчению махнувшего на меня рукой Берлинда, ограничилась только постановкой голоса, скандируя гекзаметр: «Он перед грудью поставил свой щит велелепный». Но и тут не вполне преуспела. Что, кстати, меня несколько не печалило. Ведь я не собиралась стать актрисой. Я хотела быть поэтом. И только поэтом. Ничто, кроме поэзии, меня серьезно не интересовало.

Мы – слушатели «Живого слова», «живословцы» – успели за это время не только пере-знакомиться, но и передружиться. Я же успела даже обзавестись «толпой поклонников и поклонниц» и стала считаться первой поэтессой «Живого слова». Кроме меня, не было ни одной настоящей «поэтессы».

Самый «заметный» из поэтов, Тимофеев, жил, как и я, на Бассейной, 60, и, возвращаясь со мной домой, поверял мне свои мечты и надежды как брату-поэту, вернее, сестре-поэту.

Он был так глубоко убежден в своей гениальности, что считал необходимым оповестить о ней великолепными ямбами не только современников, но и – через головы их – потомков:

– Потомки! Я бы взять хотел,
Что мне принадлежит по праву —
Народных гениев удел,
Неувядаемую славу!

И пусть на хартьи вековой
Имен народных корифеев,
Где Пушкин, Лермонтов, Толстой, —
Начертан будет Тимофеев!

На «хартьи вековой» начертать «Тимофеев» ему, конечно, не удалось. Все же такой грандиозный напор не мог пропасть совсем даром. Это он, много лет спустя, сочинил знаменитые «Бублички», под которые танцевали фокстрот во всех странах цивилизованного мира:

Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички
Ко мне скорей!

И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.

Отец мой пьяница,
Он этим чванится,
Он к гробу тянется
И все же пьет!

А мать гулящая,
Сестра пропащая,
А я курящая —
Смотрите – вот!

«Бублички» действительно – и вполне справедливо – прославили своего автора. Но в те дни Тимофеев мечтал не о такой фокстротной славе. Лира его была настроена на высокий лад. Он торжественно и грозно производил запоздалый суд над развратной византийской императрицей Феодорой, стараясь навек пригвоздить ее к позорному столбу. На мой недоуменный вопрос, почему он избрал жертвой своей гневной музы именно императрицу Фео-

дору, он откровенно сознался, что ничего против нее не имеет, но, узнав о ее существовании из отцовской энциклопедии Брокгауза и Ефрона, не мог не воспользоваться таким великолепным сюжетом.

Понятно, мои «кружевные» стихи пользовались у слушателей и в особенности у слушательниц несравненно большим успехом. Все они были ярыми поклонницами Лидии Лесной и Веры Инбер и, захлебываясь от восторга, декламировали:

Дама с тонким профилем ноги
выломала жемчуг из серьги... —

и тому подобный вздор. Из моих стихов им, как, впрочем, и мне самой, особенно нравилось:

Я сижу на сафьяновом красном диване.
За окном петербургская снежная даль.
И я вижу, встает в петербургском тумане
Раззолоченный, пышный и милый Версаль.

Все сегодня мне кажется странно и ложно.
Ты сегодня особенно страстен и дик,
И мне хочется крикнуть тебе: «Осторожно!
Ты сотрешь мои мушки, сомнешь мой парик!»

Электрический свет и узоры карниза,
Все предметы и люди чужие вокруг.
Я сегодня не я. Я сегодня маркиза.
– Не сердись на маркизу, мой ласковый друг.

Когда в начале февраля нас известили, что в следующую пятницу состоится лекция Гумилева с разбором наших стихов, не только вся литературная группа, но все мои «поклонники» пришли в волнение.

Гумилев на первой своей лекции объявил, что вряд ли наше творчество имеет что-нибудь общее с поэзией. Естественно, Гумилев и предполагать не может, какие среди нас таланты. И, главное, какой талант – я. Было решено удивить, огорошить его, заставить пожалеть о его необоснованном суждении. Но какое из моих стихотворений представить для разбора? Долго спорили, долго советовались. Наконец выбор пал на «Мирамарские таверны». Гумилев, как известно, любитель экзотики и автор «Чужого неба». Его не могут не пленить строки:

Мирамарские таверны,
Где гитаны пляшут по ночам...

или:

Воздух душен и пьянящ.
Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ...

Эти «Таверны», каллиграфически переписанные на большом листе особенно плотной бумаги, не мной, а одним из моих «поклонников», будут положены поверх всех прочих стихов. И Гумилев сразу прочтет и оценит их. Оценит их и, конечно, меня, их автора. В этом ни у меня, ни у других сомнения не возникало.

В ночь с четверга на пятницу я плохо спала от предчувствия счастья. Я радостно замирала, представляя себе изумление Гумилева.

– Я поражен, – скажет он. – Эти стихи настоящего большого поэта. Я хочу сейчас же познакомиться с ним.

И я встану со своего места и подойду к кафедре. Гумилев спустится с нее, низко поклонится мне и пожмет мне руку своей длинной, узкой рукой.

– Поздравляю вас.

И все заплодируют.

В мечтах мне это представлялось чем-то вроде венчания Петрарки – все же в миниатюре. Я не сомневалась, что все произойдет именно так. Я была уверена, что в жизни сбывается все, чего сильно и пламенно желаешь. А я ли не желала этого с самого детства?

В тот день я оделась и причесалась особенно тщательно и долго крутилась перед зеркалом, расправляя большой черный бант в волосах. Без этого банта меня тогда и представить себе нельзя было.

Дома, как и в «Живом слове», все знали о моем предстоящем торжестве. И здесь, и там никто не сомневался в нем.

Класс, где должен был произойти разбор стихов, был переполнен слушателями других отделений. Я скромно уселась на предпоследнюю скамью. С краю. Чтобы, когда Гумилев попросит «автора этих прекрасных стихов» выйти на середину класса, другим не пришлось бы вставать, пропуская меня.

На этот раз Гумилев не опоздал ни на минуту. «Живое слово» очень хорошо отапливалось, и Гумилев оставил у швейцара свою самоедскую доху и ушастую оленью шапку. Без самоедской дохи и ушастой шапки у него, в коричневом костюме с сильно вытянутыми коленями, был гораздо менее экзотичный вид. Держался он, впрочем, так же важно, торжественно и самоуверенно. И так же подчеркнуто медленно взошел на кафедру, неся перед собой, как щит, пестрый африканский портфель. Он отодвинул стул, положил портфель на тоненькую стопку наших стихов и, опершись о кафедру, обвел всех нас своими косящими глазами.

Я тогда впервые испытала странное, никогда и потом не менявшееся ощущение от его косоного, двоящегося взгляда. Казалось, что он, смотря на меня, смотрит еще на кого-то или на что-то за своим плечом. И от этого мне становилось как-то не по себе, даже жутко.

Оглядев нас внимательно, он медленно сел, скрестил руки на груди и заговорил отчетливо, плавно и гулко, повторяя в главных чертах содержание своей первой лекции. Казалось, он совсем забыл об обещании разобрать наши стихи. Лица слушателей вытянулись. Осталось только четверть часа до конца лекции, а Гумилев все говорит и говорит. Но вдруг, не меняя интонации, он отодвигает портфель в сторону.

– Не пора ли заняться этим? – И указывает своим непомерно длинным указательным пальцем на листы со стихами. – Посмотрим, есть ли тут что-нибудь стоящее?

Неужели он начнет не с меня, а возьмет какой-нибудь другой лист? Я наклоняюсь и быстро трижды мелко крещусь. Только бы он взял мои «Таверны»!

Гумилев в раздумье раскладывает листы веером.

– Начнем с первого, – заявляет он. – Конечно, он неспроста положен первым. Хотя не окажется ли, по слову евангелиста, первый последним?

Он подносит лист с «Мирамарскими тавернами» к самым глазам.

– Почерк, во всяком случае, прекрасный. Впрочем, не совсем подходящий для поэта, пожалуй. Не без писарского шика.

Я чувствую, что холодею. Зачем, зачем я не сама переписала свои стихи? А Гумилев уже читает их, как-то особенно твердо и многозначительно произнося слова, делая паузу между строками и подчеркивая рифмы. Мое сердце взлетает и падает с каждым звуком его гулкого голоса. Наконец он откладывает листок в сторону и снова скрещивает руки по-наполеоновски.

– Так, – произносит он протяжно. – Так! Подражание «Желанию быть испанцем» Козьмы Пруtkова: «Тореадор, скорей, скорее в бой! Там ждет тебя любовь!»

Он усмехается. Не улыбается, а именно усмехается. Не только злобно, язвительно, но, как мне кажется, даже кровожадно. В ответ – робкий, неуверенный смех. Несколько голов поворачиваются в мою сторону с удивлением. А Гумилев продолжает:

– До чего красиво! До чего картинно!

Я надену черное сомбреро,
Я накину красный плащ... —

по-моему, сомбреро и плащ одно и то же, но, может быть, автор настоящий испанец и лучше знает?

Теперь уже громко смеются. Смеются почти все. Злорадно, предательски. Неужели у меня хватит сил вынести эту пытку? Неужели я не упаду в обморок? Нет, сил, как всегда, больше, чем думаешь. И я продолжаю слушать. Гумилев отодвигает рукав пиджака и смотрит на свои большие никелированные часы.

– К сожалению, время в Испании летит стрелой, – говорит он с комическим вздохом. – Приходится спешно покинуть гитан и гидальго. Аривидерчи! Буоно ноче! Или как это у вас, испанцев! – Он прищелкивает пальцами: – Олэ! Олэ! До следующей корриды!

Теперь хохочут все. До слез. До колик.

– Олэ! Олэ! – несется отовсюду. Гумилев с презреньем отбрасывает мой листок и вынимает новый из середины стопки.

– Посмотрим, что тут такое?

Я сквозь шум в ушах слышу:

Осенний ветер свистит в дубах,
Дубы шуршат, дубы вздыхают...

Пять очень медленно прочитанных строф. И я их все выслушиваю.

– Что же? Довольно грамотно, – произносит Гумилев будто с сожалением. – Только скучное о скучном. Хотя и шуршащие, но дубовые стихи. – И он начинает зло критиковать их. Снова смеются. Но – или это мне только кажется – не так громко, не так предательски. И в голосе Гумилева нет издевательских, злорадных ноток, когда он говорит устало: – А остальное разберем – если вы еще не убедились, что и разбирать не стоит, – в следующий раз.

Он берет свой портфель и не выходит, а торжественно покидает класс. За ним бежит Тимофеев и сейчас же, давясь от смеха, доносит ему, что «испанские стихи принадлежат той рыженькой с бантом».

Об этом я узнала много позже. Но не от Гумилева. Как это ни странно, за все мои ученические годы Гумилев никогда не вспоминал о том, что он чуть было не зарезал меня. Меня, «свою лучшую ученицу». Гумилев притворялся, что так и не узнал, кому принадлежали высмеянные им испанские стихи. Я же притворялась, что верю этому.

Я давным-давно научилась смотреть на себя, ту, прежнюю, —

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело.

Разве это была я? И все-таки у меня и сейчас сжимается сердце, когда я вспоминаю, как в тот снежный вечер возвращалась домой.

Я не помню, как вышла из класса, спустилась по лестнице, прошла через сад и очутилась на улице.

Я помню только мрачные сумерки, снег и зловещее карканье ворон на углу Бассейной и Греческого.

Обыкновенно я весело кричала каркающим воронам:

– На свои головы! На свои головы каркаете!

Но сейчас я молча слушала их карканье. Конечно, на мою голову. На чью же еще, кроме моей?

Дома меня встретили радостными расспросами. Но я, сбросив шубку прямо на пол – пусть другие вешают ее, если хотят, – махнула рукой.

– Не пришел. Не пришел Гумилев! Напрасно целый час ждали. Не пришел! У меня голова болит. Я пойду лягу. И обедать не буду.

То, что я пожаловалась на головную боль – у меня никогда не болела голова – и главное то, что я пожелала лечь и не обедать, испугало моих домашних – а вдруг я заболела? И они заходили на носках и стали шепотом советовать, не позвать ли доктора.

У себя в комнате я заперла дверь на ключ и действительно легла. «Легла, как ложатся в гроб», – сказала я себе громко.

На следующий день я проснулась поздно. Лучше всего было бы умереть от горя и позора. Но раз умереть не удалось, надо продолжать жить.

Но как и чем? Ведь я жила только стихами.

И вот оказалось, что я ошиблась.

После вчерашнего возврата к поэзии быть не могло. С поэзией все покончено, раз и навсегда.

Я пролежала сутки в кровати, позволяя домашним ухаживать за собой. За это время я успела все обдумать и решить.

На третий день я записалась на кинокурсы, находившиеся совсем близко, на Суворовском проспекте.

Нет, я не собиралась стать кинематографической звездой, но мне необходимо было найти какое-нибудь занятие.

На кинокурсах меня опять спросили, знаю ли я иностранные языки – вопрос особенно нелепый в годы немого кинематографа, – умею ли я ездить верхом и править автомобилем?

Верхом я ездила с раннего детства, но об управлении автомобилем понятия, конечно, не имела, что, впрочем, не помешало моему условному принятию на кинокурсы.

– Через три недели состоится зафильмованный экзамен, после которого выяснится, кто принят и кто исключен, – нахмурившись, объявил заведующий. И, помолчав с минуту, добавил, улыбаясь дружелюбно: – Впрочем, вам, товарищ, бояться не надо. Вижу, что фотогеничны. И даже очень. Вы-то приняты будете.

Но это обещание не обрадовало меня. Я чувствовала себя здесь совсем не на своем месте. Здесь ничем, кроме кинематографа, не интересовались и часами спорили о Вере Холодной, Мозжухине, Франческе Бертини, Максимове. Но до них всех мне не было решительно никакого дела.

Я чувствовала себя одинокой, несчастной и, чтобы не переживать в сотый раз гибели всех моих надежд, до изнеможения занималась гимнастикой, карабкалась по лестницам, рас-

качивалась на трапедии. Гимнастике отдавались утренние часы, в остальное время разыгрывали всевозможные театральные сцены, что было довольно забавно и, главное, мешало думать о моем горе.

На кинокурсах жили, как под дамокловым мечом, нервничали, интриговали, заранее стараясь перебежать друг другу дорогу в ожидании страшного экзамена.

Я одна не проявляла нервности, что принималось остальными за самонадеянность.

– Знает, что будет принята, и задирает нос!

Как-то, почти накануне экзамена, выйдя из дома, я не свернула на Суворовский, а пошла вниз по Бассейной, не отдавая себе отчета, куда я иду. И только дойдя до Знаменской, поняла, что иду в «Живое слово». Иду оттого, что не могу не идти.

Первый, кто меня встретил в вестибюле, был Всеволодский. Он обхватил меня за плечи, заглядывая мне в лицо.

– Наконец-то! Вы что, больны были? Ай! Ай! Еще похудели. Но теперь поправились? Ну слава Богу, слава Богу!

Он повел меня с собой в класс и объявил радостно:

– Смотрите, вот она! Вернулась к нам. Ведь как мы все по ней скучали! И вот она с нами опять! Теперь мы уж ее не отпустим!

И я сразу почувствовала себя прежней, окруженной дружбой и любовью. Будто Гумилев не выставлял меня к позорному столбу, будто надо мной никогда не глумились все эти мои друзья и поклонники.

В тот же день я слушала лекцию Луначарского и профессора Энгельгардта, читавшего о китайской литературе, слушала с тем же увлечением, как прежде.

– А завтра будем праздновать юбилей Кони, – сейчас же сообщили мне. – Как хорошо, что вам удастся присутствовать на нем!

Да, это было очень хорошо. Кони мы все глубоко уважали. Я радовалась, что буду на его юбилее.

Кони исполнилось семьдесят пять лет. Возраст, казавшийся нам, слушателям «Живого слова», почти мафусаиловым.

Юбилей, стараниями Всеволодского, удался на славу. Стены ярко освещенного зала были разукрашены звездами и лавровыми венками с красными лентами.

На эстраде восседал сам юбиляр, окруженный группой ораторов, восхвалявших его в юбилейных речах.

Маленький, сухонький, сгорбленный Кони с тоской в глазах выслушивал многословные, пустозвонные приветствия Луначарского, Всеволодского, Юрьева, Студенцова и каких-то незнакомых нам комиссаров и представителей печати.

Но когда на эстраду поднялся один из слушателей «Живого слова» и начал пространно и восхищенно перечислять все события, приведшие Россию к революции, Кони вдруг заерзал на месте и поднял руку.

– Знаю, знаю, верю! Кончайте, голубчик, скорей. Невтерпеж мне!

Оратор поперхнулся на полуфразе.

– Благодарная Россия! Вам! вас!.. Благодарная Россия. – Он покраснел, смутился и крикнул: – Поздравляет! – и, пятась, спрятался за широкую спину Луначарского.

Кони быстро встал и трижды поклонился:

– Сердечно благодарю всех.

И ни с кем не прощаясь, мелкой, старческой походкой заковыляв к выходу, покинул актовый зал под аплодисменты присутствующих.

Мы гурьбой бросились за ним. Каждому из нас – ведь мы все были его учениками – хотелось лично поздравить его и пожать ему руку. Он, держась за перила, уже спускался по

широкой лестнице. Швейцар подал ему шубу и распахнул перед ним дверь. Кони нахлобучил котиковую шапку и ринулся в сад.

Все это было похоже на бегство.

В саду он, оглянувшись с испугом, почти с отчаянием на нас, уже успевших выбежать вслед за ним на крыльцо, махнул рукой, будто отгоняя нас, сошел с расчищенной, утоптанной аллеи, ведущей к выходу, и, утопая по колени в снегу, направился к группе черневших деревьев.

Мы остановились, сбитые с толку. Что же это такое? Почему он бежит от нас, словно мы свора гончих, преследующая оленя?

Мы смотрели на него, застыв на месте, не смея двинуться за ним.

А он остановился около деревьев, спиной к нам. Постояв так несколько минут, он снова заковылял по снегу, уже не к нам, а прямо к выходу.

Вот он выбрался на расчищенную аллею и медленно и устало, еще более сгорбившись, дошел до распахнутых ворот, ведущих на улицу.

Вот черная тень его мелькнула на снегу и пропала.

Я все еще стояла в полной растерянности, не понимая, что произошло.

Это был первый юбилей, на котором мне привелось присутствовать.

Но разве таким должен быть юбилей?

А я могла из-за него простудиться. Ведь я выбежала на мороз в одном платье, без шубки и ботинок.

Вернувшись в «Живое слово», я зажила прежней восхитительной, полной жизнью.

Я была почти счастлива.

«Почти» – ведь воспоминание о моем «позоре» все еще лежало, как тень, на моей душе.

На лекции Гумилева я, конечно, не ходила. Мои друзья поддерживали меня в моем решении навсегда «вычеркнуть» из памяти Гумилева.

– Очень он вам нужен, подумаешь! – Теперь они, будто сговорившись, осуждали его за тогдашнее.

– Кто же не знает, что сомбреро – шляпа, а не плащ?

– Но почему же вы хохотали? – спрашивала я.

– Оттого, что он так смешно ломался. Мы не над вашими стихами, а над ним смеялись. Честное слово! Ей-богу! Неужели не верите?

Я качала головой. Нет, я не верила. И все-таки мне было приятно, что они так дружно осуждают Гумилева и по-прежнему восхищаются моими маркизами и гитанами.

Я перестала мечтать о славе, но снова начала писать стихи – в прежнем стиле, как бы назло Гумилеву.

Особенным успехом пользовалось мое стихотворение, кончавшееся строфой:

Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Да, казалось, я примирилась с тем, что с поэзией все кончено, что я из поэта превратилась в «салонную поэтессу».

Я стала ревностно обучаться у Кони ораторскому искусству, слушала лекции Луначарского, Энгельгардта и самого Всеволодского, мне ставили голос. Но с наибольшим удовольствием, пожалуй, я занималась ритмической гимнастикой по Далькрозу. В ней, несмотря на полную немзыкальность, я чрезвычайно отличалась.

Всеволодский даже спросил меня и другую успешную далькрозистку, согласны ли мы отправиться на год в Швейцарию к Далькрозу – разумеется, на казенный счет.

Конечно, это был чисто риторический вопрос – никого из «Живого слова» не отправили к Далькрозу. Но это свидетельствовало о планетарном размахе Всеволодского.

Хотя я и не ходила на лекции Гумилева, но я не могла не интересоваться тем, что на них происходит.

– Нет, разбора стихов больше не было. Никто больше не пожелал подвергаться такому издевательству. Но практические занятия – обучение, как писать стихи, – очень забавны.

Я жадно слушала.

– К следующему четвергу мы должны написать стихотворение на заданные рифмы, – рассказывает мне живословка, непохожая на остальных. Она – дама. И даже немолодая дама, годящаяся мне в матери. Очень милая, всем интересующаяся.

Она берет меня под руку и спокойно и уверенно убеждает меня:

– Вам непременно надо ходить на его занятия. Это просто необходимо. Вы многому научитесь у него. Забудьте обиду.

– Никогда! – упрямо отвечаю я. – Никогда в жизни!

Но я все же беру листок с рифмами, переписанными ею для меня. И соглашаюсь дать ей написанные мною стихи, с тем чтобы она выдала их за свои.

Ведь это меня ни к чему не обязывает. Я только проверю себя – могу ли я или не могу исполнить задание. Действительно ли я уже так безнадежно бездарна?

В тот же вечер я заперлась у себя в комнате и написала стихотворение на данные Гумилевым рифмы:

Нет, я не верю, что любовь обман.
Из дальних стран китаец косоглазый
Привез измены и греха заразы.
Позорной страстью дух твой обуян.

Но неприступны городские стены.
Сны наших жен белее моря пены.
Их верность – золото, их честь – гранит.
За синими мечети куполами,
За городом, за спящими садами,
Там, на заре, китаец твой убит.

Я отдала его моей покровительнице – снова взяв с нее слово, что она выдаст его за свое. И стала ждать, ни на что не надеясь.

А все-таки... Вдруг Гумилев похвалит его? Нет, этого не будет, уверяла я себя.

Но Гумилев действительно похвалил и даже расхвалил мое стихотворение.

Рифмы, оказалось, были взяты из его собственного усеченного сонета.

Гумилев сказал:

– Этот сонет можно было бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую «Черную шаль».

Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала расспрашивать всех, и все повторяли одно и то же: «Можно напечатать. Похож на “Черную шаль”». Что же это такое? Я недоумевала. Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?..

Теперь, когда оглядываюсь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на «Черную шаль», и он, пожалев «рыженькую с бантом», снова «перегнул палку» уже в сторону чрезмерных похвал.

И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер. Хотя эта выдержка давалась мне нелегко.

Я, как тень, металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения не подслушивала у дверей.

И однажды случилось невероятное: Гумилев, окончив занятия, вышел раньше обычного из класса и спустился по лестнице.

Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернул прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала, что окаменела и не могу двинуться с места.

– Почему вы больше не приходите на мои занятия? – спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то.

И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить.

– Почему вы не приходите? – повторил он нетерпеливо. – Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахии?

Я молча покачала головой.

– А знать необходимо. – Он улыбнулся и неожиданно прибавил: – Вас зовут Наташа.

Не вопрос, а утверждение.

Я снова покачала головой.

– Нет. Совсем нет, – проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет».

Гумилев по-своему оценил мой ответ.

– Вы, мадемуазель, иностранка?

– Нет, я русская, – ответила я с раскатом на «р» – «ррусская». И будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.

– Так в четверг. Не забудьте, в четыре часа. Я вас жду, – донесся до меня его голос.

Забывать? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал – я вас жду!

И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий.

И даже впервые услышала имя Георгия Иванова.

Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов – так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова – дактиля, Георгий Иванов – амфибрахия.

Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам.

В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы:

А птичка Божия не знает
Работы тяжелой и труда...

и так далее.

И я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова.

С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре.

Через месяц я уже понимала, что Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся, и сожгла тетрадь, где они были записаны.

«Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами» медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то так дороги.

Ведь Гумилев говорил: лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи.

Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. Напротив, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне.

Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде обращения дочери к отцу-дракону:

Отец мой, отец мой,
К тебе семиглавый —
В широкие синие степи твои
Иду приобщиться немеркнущей славы
Двенадцатизвездной твоей чешуи...

И хотя я поверила Гумилеву, что «испанцы и маркизы – пошлость», но семиглавый дракон с двенадцатизвездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку – «Двенадцатизвездной твоей чешуи», и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру.

Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более что Гумилев нас никак не обнадеживал.

– Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже очень много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле не учась. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность.

Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».

Я не пропускала ни одной его лекции и дома исписывала целые тетради всевозможными стихотворными упражнениями.

Сколько рондо, октав, газелл, сонетов я сочинила в те дни!

Был уже май месяц, когда Гумилев, войдя в класс, заявил:

– Сообщаю вам сенсационную новость: на днях открывается Литературная студия, где главным образом будут изучать поэзию.

И он стал подробно рассказывать о Студии и называть имена писателей и поэтов, которые будут в ней преподавать.

– Вам представляется редчайший случай. Неужели вы не сумеете им воспользоваться? – Он оглядел равнодушные лица слушателей. – Боюсь, что никто, – и вдруг протянул руку, длинным пальцем указывая на меня, – кроме вас. Ваше место там. Я уже записал вас. Не протестуете?

Нет, я не протестовала. Мне казалось, что звезды падают с потолка.

Гумилев был прав – из «Живого слова» никто, кроме меня, не перешел в Литературную студию.

Литературная студия открылась летом 1919 года.

Помещалась она на Литейном в доме Мурузи, в бывшей квартире банкира Гандельблата.

Подъезд дома Мурузи был отделан в мавританском стиле «под роскошную турецкую баню», по определению студистов.

Когда-то, как мне сейчас же сообщили, в этом доме жили Мережковский и Зинаида Гиппиус, но с другого подъезда, без восточной роскоши.

В квартире банкира Гандельблата было много пышно и дорого обставленных комнат. Был в ней и концертный зал с эстрадой и металлической мебелью, крытой желтым штофом.

В первый же день Гумилев на восхищенное восклицание одной студистки, ощупавшей стул: «Да весь он из серебра. Из чистого серебра!» – ответил тоном знатока:

– Ошибаетесь. Не из серебра, а из золота. Из посеребренного золота. Для скромности. Под стать нам. Ведь мы тоже из золота. Только для скромности снаружи высеребрены.

«Мы», конечно, относилось к поэтам, а не к студистам.

Впрочем, из студистов, не в пример живословцам, многие вышли в люди, и даже в большие люди.

Одновременно со мной в Студию поступили Раиса Блох, талантливейший рано умерший Лева Лунц, Нельдихен, еще не успевший кончить школы Коля Чуковский и Вова Познер, Шкапская и Ада Оношкович-Яцына.

Ко времени открытия Студии Гумилев уже успел многому научиться и стать более мягким. Разбор стихов уже не представлял собой сплошного «избиения младенцев». Ни Коле Чуковскому, ни Воле Познеру, ни Лунцу не пришлось пережить того, что пережила я.

Напротив, все для них сошло гладко и легко – как, впрочем, на этот раз и для меня.

На первой лекции Гумилева мы сами читали свои стихи, и Гумилев высказывал снисходительные суждения.

Помню стихи, которые читал Коля Чуковский, его милое мальчишеское большеносое лицо, его удивительно чистую белую рубашку с разорванным от плеча рукавом.

Гумилев очень похвалил его стихи:

Я плохо жил,
Я время лил, как воду —

и второе, начинавшееся:

То не ангелы, то утки
Над рекой летят.

– Вполне хорошо и, главное, не банально! – одобрил он важно.

Очень похвалил он и Вову Познера, хорошенького черноглазого, черноволосого мальчика, даже еще более картавого, чем я.

Особенно ему понравились стихи Лунца. Впрочем, Лева Лунц не только нравился, но и поражал своей даровитостью – в Студии и в университете. Он уже был студентом.

В тот день читала и я свой, уже заранее, в «Живом слове», одобренный Гумилевым сонет:

Всегда всему я здесь была чужою,
Уж вечность без меня жила земля,
Народы гибли и цвели поля,
Построили и разорили Трою...

и так далее.

Вот это «построили и разорили Трою» и заслужило одобрение Гумилева.

– Сколько раз говорили о разорении Трои, и никто, кроме вас, не вспомнил, что ее и «построили».

В тот день читались, конечно, и очень слабые стихи, но Гумилев воздерживался от насмешек и убийственных приговоров, ограничиваясь только кратким: «Спасибо. Следующий», – и отметкой на лежавшем перед ним листке.

Когда мы все – нас было не больше двадцати – прочли свои стихи, Гумилев объявил, что поделил нас на две группы – для успешности занятий. Я вместе с Чуковским, Познером и Лунцем попала в первую группу.

Но, забегая вперед, должна сказать, что и в Студии, вначале, как и в «Живом слове», из лекций и практических занятий Гумилева получалось немного.

Хотя Гумилев победил уже свою застенчивость и сумел отделаться от «бесчеловечной жестокости выносимых им приговоров», но он еще не понимал своей аудитории, недооценивал ее критического отношения и ее умственного развития. Он старался во что бы то ни стало поразить ее воображение и открыть перед ней еще неведомые горизонты. Он не умел найти нужного тона и держался необычайно важно и торжественно.

И в Студии многие не выдерживали его «учебы». С каждой лекцией у Гумилева становилось все меньше слушателей.

Но Гумилев, сохраняя олимпийское величие, оглядывал редяющие ряды своих слушателей:

– Я очень рад, что никчемный элемент отпадает сам собой. Много званных, мало избранных, – и он поднимал, как бы призывая небо в свидетели, свою узкую руку.

В Студии занятия происходили ежедневно, и я, при всем желании, не могла совмещать их с «Живым словом». Надо было сделать выбор. И я, конечно, выбрала Студию.

Все же я не порывала с «Живым словом» совсем, по-прежнему занимаясь ритмической гимнастикой, постановкой голоса... Гумилев продолжал свои лекции и практические занятия, в «Живом слове» до конца 1920 года у него оставалось всего три-четыре слушателя – включая меня, бессменно присутствовавшую на его лекциях и занятиях.

К концу своей жизни он стал одним из самых популярных лекторов и всецело овладел искусством подчинять себе аудиторию.

Но это было зимой 1920–1921 года. Теперь же шло лето 19-го. Очень жаркое лето. Дни казались бесконечно длинными.

Летнее время было декретом отодвинуто на целых три часа назад, и утро нормально начиналось с восходом солнца, а день кончался в 9 часов вечера. Это было удобно, мы все лето обходились без освещения, что придавало жизни какой-то фантастический оттенок, какой-то налет нереальности. Дни были удивительно голубые, поместительные, длинные, глубокие и высокие. В них как будто незримо присутствовало и четвертое измерение.

Казалось, что трех измерений для них, как и для всего тогда происходившего, мало.

На Невском между торцами зеленела трава. В сквере напротив нашего блока домов Бассейной, как и в Таврическом саду, шелкали соловьи. Соловьи залетали даже в деревья под наши окна.

Однажды я проснулась от соловьиного пения под моим окном. От луны было совсем светло. Я села на низкий подоконник. Мне казалось, что захлестывающее чувство счастья сейчас унесет меня в открытое окно и я разорвусь на куски – распадусь звездной пылью и лунным сиянием. От счастья.

Мне вдруг стало страшно, я спрыгнула с подоконника, добежала до кровати, забралась в нее и натянула одеяло на голову, спасаясь от непомерного чувства счастья. И сейчас же заснула.

Но и во сне чувство счастья не покидало меня.

Все, что я с детства желала, все, о чем мечтала, вот-вот исполнится. Я стояла на пороге. Скоро, скоро и я смогу сказать:

– Сезам, откройся!

Скоро и я буду поэтом. Теперь я в этом уже не сомневалась. Надо только немножко подождать. Но и ожидание уже счастье, такое счастье, или, точнее, такое предчувствие счастья, что я иногда боюсь не выдержать, не дождаться, умереть – от радости.

Так жила я в то лето, первое «настоящее лето» в моей жизни. До него все было только подготовкой.

А жить в Петербурге в те дни было нелегко. В кооперативных лавках выдавали мокрый, тяжелый хлеб, нюхательный табак и каменное мыло – даром.

На Бассейной мешочники и красноармейцы предлагали куски грязного сахара, держа его для приманки на грязной ладони, и покупатели, осведомляясь о цене, ощупывали кусок сахара и, не сойдясь в цене, клали его обратно.

Правила гигиены, всякие микробы и миазмы, которых так опасались прежде: «Не трогай деньги! Пойди вымой руки!» – были теперь забыты.

Как и чем я питалась, я плохо помню. Конечно, и я бывала голодна. Но я научилась не обращать внимания на голод.

В те дни я, как и многие, научилась «попирать скудные законы бытия». В те дни я, как и многие, стала более духовным, чем физическим существом. «Дух торжествует над плотью» – дух действительно торжествовал над моей плотью. Мне было так интересно жить, что я просто не обращала внимания на голод и прочие неудобства.

Ведь все это было ничтожно, не существовало по сравнению с великим предчувствием счастья, которым я дышала. Ахматова писала:

И так близко подходит чудесное
К покосившимся грязным домам,
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

Значит, и она тоже, пусть и не так, как я, испытывала таинственное очарование этих дней. И для нее тоже это было «от века желанное». Для нее и для многих других. Для каждого по-своему.

Литстудия открылась летом. В июле месяце. Июль обыкновенно до революции представлялся отдыхом от занятий и развлечениям.

Но теперь все изменилось, все перепуталось. Каникулы вообще не существовали больше, или, вернее, каникулы продолжались круглый год. Ведь в принципе во время каникул занимаешься именно тем, делаешь именно то, что хочешь. А теперь мне впервые предоставлено право делать то, заниматься тем, чем я хочу.

В это лето я сделала еще одно удивительное открытие. Я вдруг почувствовала, что Петербург мой город и действительно принадлежит мне. Исчезло все столичное, чопорное, чужое. Петербург стал чем-то вроде своего имения, по лесам и полям которого бродишь целыми днями.

– Что ж? В деревнях мужикам часто приходилось голодать, а теперь и мы, баре, поголаживаем, зато как интересно стало жить, – говорил Михаил Леонидович Лозинский.

Михаил Леонидович Лозинский, последний поэт-символист и переводчик, только входивший тогда в славу. Очаровательный, изумительный, единственный Лозинский.

Когда Лозинский впервые появился в Студии за лекторским столом, он тоже разочаровал меня. Большой, широкоплечий, дородный. Не толстый, нет, а доброкачественно дород-

ный. Большелицый, большелобый, с очень ясными большими глазами и светлой кожей. Какой-то весь насквозь добротный, на иностранный лад, вроде василеостровского немца. Фабрикант, делец, банкир. Очень порядочный и буржуазный. И безусловно, богатый. Это о таких, как он, писал Маяковский:

Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.

С буржуазно-барственным видом Лозинского мне было труднее примириться, чем даже с нелепой фигурой Гумилева в короткой широкой дохе и ушастой шапке.

Лозинский заговорил – спокойно, плавно и опять как-то барственно, приятным полновзвучным баритоном. О переводе стихов. И привел несколько примеров переводов. Сначала оригинал по-французски и английски – с прекрасным выговором, – потом по-русски.

Помню, как он произнес, великолепно скандируя, каждое слово падало звонко:

Valmiki le poète immortel est très vieux...⁴

Я не любила Лекона де Лиля, но тут вдруг почувствовала всю красоту и силу этих слишком парнасских стихов. Лозинский читал стихи лучше всех тогдашних поэтов, но сам он был, хотя и прекрасный переводчик, слабый поэт. И это тем более непонятно, что он владел стихом, как редко кто во всей русской поэзии, и обладал, по выражению Гумилева, «абсолютным слухом и вкусом».

Лозинский считал себя последним символистом. Но и среди символистов он вряд ли мог рассчитывать на одно из первых мест.

Помню его отдельные строки:

Рука, что гладит ласково
И режет, как быка... —

или:

Печаль и радость прежних лет
Я разливаю в два стакана... —

или еще:

И с цепью маленькие руки,
Похожие на крик разлуки.

Эти руки, «похожие на крик», да еще не просто на крик, а на «крик разлуки», – как будто при разлуке кричат как-то особенно, – не свидетельствуют о совершенном вкусе, как и рука, что «режет, как быка».

Абсолютный вкус и слух Лозинский проявлял лишь в отношении чужих стихов и, главное, в переводах.

Была у него, впрочем, одна вполне «абсолютная» строфа и совсем не символистская:

⁴ Вальмики, бессмертный поэт, очень стар (*фр.*).

Проснулся от шороха мыши,
И видел большое окно,
От снега белые крыши, —
...А мог умереть давно...

За ней шла вторая строфа «с расширением темы», ненужная и потому не удержавшаяся у меня в памяти. Гумилев советовал отбросить ее, но Лозинский не послушался его.

Гумилев вспоминал всегда это: «А мог умереть давно», когда хотел доказать, что Лозинский не только переводчик, но и поэт.

Но спорящие приводили в доказательство своей правоты слова Брюсова:

– Нет ни одного поэта, как бы плох он ни был, хоть раз в жизни не написавшего хорошей строфы. Даже Раггауз – образец бездарности – автор простых и удачно найденных строк:

День проходит,
Меркнет свет.
Мне минуло
Сорок лет...

Роль Лозинского в кругах аполлонцев и акмеистов была первостепенной. С его мнением считались действительно все. Был он также библиофил и знаток изданий. Это ему сборники стихов акмеистов обязаны своей эстетической внешностью – ему и типографии Голике.

Гумилев говорил о Лозинском, внимательно рассматривающем принесенный на его суд проект обложки:

Лозинский глаз повсюду нужен,
Он вмиг заметит что-нибудь.

И действительно, «лозинский глаз» всегда замечал «что-нибудь».

– Вот эту букву надо поднять чуть-чуть и все слово отнести налево на одну десятую миллиметра, а эта запятая закружилась, хвостик слишком отчетлив.

Лозинский, прославленный редактор журнала «Гиперборей».

Гумилев скоро прочтет мне шуточные стихи, посвященные пятницам в «Гиперборее»:

Выходит Михаил Лозинский,
Покуривая и шутя,
Рукой лаская исполинской
Свое журнальное дитя.

У Николая Гумилева высоко задрана нога,
Для романтического лова нанизывая жемчуга.
Пусть в Царском громко плачет Лева,
У Николая Гумилева
Высоко задрана нога.

Печальным взором и молящим
Глядит Ахматова на всех.

Был выхухолем настоящим
У ней на муфте драный мех...

Прочтет с комментариями. Я в этот день узнаю, что Ахматова была очень самолюбива и совсем не понимала шуток, когда они касались ее, и что строки «Был выхухолем настоящим // У ней на муфте драный мех» привели ее в негодование и она страстно протестовала против них.

– Женщина, к сожалению, всегда женщина, как бы талантлива она ни была! – прибавит он, а мне будет трудно ему поверить, так это не вяжется с образом Ахматовой, созданным моим воображением.

Но всего этого, как и того, какой Лозинский исключительный собеседник и до чего он остроумен, я тогда, конечно, не знала.

Переводами мне не очень хотелось заниматься. Никакого влечения к ним я не испытывала и удивлялась энтузиазму, с которым за них бралось большинство студистов.

Переводчицы стихов из меня так и не вышло. Я скорее присутствовала на занятиях Лозинского, чем принимала в них деятельное участие.

Среди особенно преданных «переводчиков» была Раиса Блох, в 1943 году замученная гитлеровцами. Была она тогда очень молодая, полная – редкость в те голодные годы, когда большинство из нас, и особенно я, были так тонки, так «умилительно тонки», что, по выражению Гумилева: «Ветер подует, сломает или унесет. Взмахнете бантом, как крылом, – и только вас и видели».

Раиса Блох производила скорее впечатление тяжести, что не мешало ее девически невинному и нежному виду.

Когда приехавший с юга Осип Мандельштам впервые прочел свои стихи:

Сестры тяжесть и нежность,
Одинаковы ваши приметы...

Лозинский кивнул, сохраняя присущую ему серьезность:

– Понимаю. Это вы про Раису Блох. Тяжесть и нежность – очень характерно для нее.

Раиса Блох, кроме Студии, училась еще и в университете. В Литстудии она больше всего занималась переводами. К Гумилеву на занятия ходила редко, хотя и писала уже тогда стихи. Вот одно из них:

А я маленький воробей,
На заборе нас не мало есть,
Из пращи меня не убей,
Дай допеть мою дикую весть.

Этот «маленький воробей» с его «дикой вестью» веселил студистов, и Раису Блох прозвали «маленьким воробьем» и «диководницей». Впрочем, смеялись очень добродушно, безобидно и весело, Раиса Блох была на редкость мила и симпатична – ее все любили.

В те дни мы вообще смеялись очень много. Смеялись так же легко, как и плакали. Плакать приходилось часто – ведь аресты и расстрелы знакомых и близких стали обыкновенным, почти будничным явлением, а мы еще не успели, по молодости лет, очерстветь душой.

Но возвращаясь к Лозинскому – Ада Оношкович-Яцына была его любимейшей ученицей. Такой же «лучшей ученицей» Лозинского, как я – Гумилева.

Ада Оношкович не была красивой, ни даже хорошенькой. Но этого ни она, ни другие не замечали. В ней кипела такая бурная молодость, она была полна такой веселой силой и энергией, что никому и в голову не приходило заметить, красива она или нет.

Однажды она явилась в Студию с торчащими во все стороны короткими волосами и объяснила весело:

– Надоело причесываться каждое утро. Вот я сама и остриглась. Я теперь похожа на Египетский мост. Разве не хорошо?

И действительно вышло очень хорошо – став еще немного некрасивей, она стала еще очаровательней. Кстати, она показала очень передовой вкус, предвосхитив моду на сорок лет, – ведь теперь многие кинематографические звезды причесываются такими Степками-растрепками, уродуя себя.

Но тогда понятия о женской красоте еще не эволюционировали. И все же «египетский мост», хотя и не нашел подражательниц, был нами одобрен.

Ада Оношкович, несмотря на дарование, не стала настоящим поэтом, не выступала на поэтических вечерах и нигде не печаталась.

Но, как это ни удивительно, стихи ее были известны и нравились Маяковскому, хотя мы, петербуржцы, почти не имели с ним сношений. Не только мы, молодые, но и наши мэтры.

Осенью 1920 года Маяковский приехал «удивить Петербург» и выступил в только недавно открывшемся Доме искусств. Огромный, с круглой, коротко остриженной головой, он скорее походил на силача-крючника, чем на поэта. Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас. Скорее по-актерски, хотя – чего актеры никогда не делали – не только соблюдая, но и подчеркивая ритм. Голос его – голос митингового трибуна – то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по-голубиному и журчал, как лесной ручеек.

Протянув в театральном жесте громадные руки к оглушенным слушателям, он страстно предлагал им:

Хотите, буду от мяса бешеным
И, как небо, меняясь в тонах,
Хотите, стану невыразимо нежным, —
Не мужчина, а облако в штанах?..

В ответ на эти необычайные предложения зал восторженно загрохотал. Казалось, все грохотало, грохотали стулья, грохотали люстры, грохотали потолок и пол под звонкими ударами женских ног.

– Бис, бис, бис!.. – неслоь отовсюду.

Гумилев, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду буйствовавших слушательниц.

Когда по окончании чтения я пришла в отведенную для поэтов артистическую, прилегающую к зрительному залу, Гумилев все еще находился в ней. Прислушиваясь к крикам и аплодисментам, он, морщась брезгливо, проговорил:

– Как видите, не ушел, вас ждал. Неужели и вас... и вас разобрало? – И, не дожидаясь моего ответа, добавил, продолжая прислушиваться к неистовым крикам и аплодисментам: – Коллективная истерика какая-то. Позор!.. Безобразия!

Вид обезумевших, раскрасневшихся, потных слушательниц, выкрикивающих, разинув рты: «Ма-я-ковский, Ма-я-ковский!» – казался и мне отвратительным и оскорбительным.

Да, я испытывала чувство оскорбления и обиды. Ведь ничего подобного не происходило на «наших» выступлениях. Ни Блоку, ни Гумилеву, ни Кузмину не устраивали таких неистовых, сумасшедших оваций.

И когда Гумилев, не дожидаясь появления в гостиной триумфатора – его все еще не отпускала буйствующая аудитория, – предложил мне:

– Идем домой. Вам совсем незачем знакомиться с ним.

Я согласилась.

Уже пересекая Невский, Гумилев, всю дорогу говоривший о «Кристабель» Кольриджа, недавно переведенной Георгием Ивановым для «Всемирной литературы», вдруг сказал:

– А ведь Маяковский очень талантлив. Тем хуже для поэзии. То, что он делает, – анти-поэзия. Жаль, очень жаль...

Маяковский уехал на следующий день из Петербурга. Между ним и нами снова встала глухая стена равнодушия и, пожалуй, даже враждебности. Мы не интересовались его новыми стихами, он же открыто презирал петербургских поэтов: «Мертвецы какие-то. Хлам! Все до одного, без исключения...»

Поздней осенью 1922 года, уже в Берлине, на вечеринке у художника Пуни, я в первый и в последний раз встретила с Маяковским.

Шкловский уверял, что когда-нибудь наше время будут называть Пуническим, по «знаменитому Пуни». Но в 1922 году слава Пуни еще не гремела.

Жена Пуни, растрепанная и милая, старается объединить гостей если и не беседой, то напитками. Сколько бутылок, и как быстро пустые бутылки заменяются новыми.

В маленьких мансардных комнатах много гостей – Белый, Оцуп, художник Альтман, только что приехавший из России Шкловский, Бахрах и еще много других, незнакомых мне. Лиля Брик, красивая, немного скуластая, внимательноглазая, в фантастической кружевной шляпе, похожей на крылья коричневой бабочки, сидит рядом с Маяковским на диване. Они вдвоем образуют не то центр, не то какой-то остров в этом волнующемся людском море.

Маяковский вдруг громко спрашивает, указывая на меня пальцем:

– Кто эта девушка, которая ничего не пьет и ни с кем не целуется?

Я действительно ничего не пью. Не научилась еще.

– Ирина Одоевцева, – отвечает Оцуп.

Маяковский кивает:

– Ах, знаю, знаю.

Я иду с своей судьбой не в ногу
На французских тонких каблучках.

Недурно. Очень недурно.

Но Шкловский машет на него рукой. Шкловский – наш петербуржец, мы с ним в приятельских отношениях.

– Нет, совсем нет! Это Ада Оношкович написала. А Ирина Одоевцева – это «Лошадь поднимет ногу одну»... «Баллада об извозчике». Слыхали, конечно?

Но Маяковский, «конечно», не слышал. Он пожимает плечами.

– Лошадь? Лошадь следовало бы мне оставить. Все равно лучше не скажешь: «Лошадь, вам больно?» А про французские каблучки ей бы подошло. Мило про каблучки. Девически мило. Мне нравится. Даже очень.

Но к сожалению, Аде Оношкович вряд ли стало известно, что ее стихи нравились Маяковскому, самому Маяковскому. Умерла она в 30-х годах, о чем я узнала уже в Париже.

Как началась моя дружба с Гумилевым? Но можно ли наши отношения назвать дружбой?

Ведь дружба предполагает равенство. А равенства между нами не было и быть не могло. Я никогда не забывала, что он мой учитель, и он сам никогда не забывал об этом.

Говоря обо мне, он всегда называл меня «Одоевцева – моя ученица».

Однажды Чуковский – к тому времени я уже стала самостоятельным поэтом, автором баллад и членом Второго цеха – насмешливо предложил ему:

– Вместо того чтобы всегда говорить «Одоевцева – моя ученица», привесьте-ка ей просто на спину плакат «Ученица Гумилева». Тогда всем без исключения будет ясно.

Да, дружбы между нами не было, хотя Гумилев в редкие лирические минуты и уверял меня, что я его единственный, самый близкий, незаменимый друг.

Его другом я, конечно, не была. Но у Гумилева вообще не было ни одного друга.

Ни в мое время, ни, судя по его рассказам, в молодости.

Были приятели, всевозможные приятели, начиная с гимназической скамьи, были однополчане, были поклонники и ученики, были женщины и девушки, влюбленные в него, и те, в которых он – бурно, но кратковременно – влюблялся.

Был синдик Сергей Городецкий, деливший с Гумилевым власть в Первом цехе поэтов, члены Цеха и аполлонцы – Осип Мандельштам, Мишенька Кузмин, Георгий Иванов и остальные. Ближе всех других ему был, пожалуй, Лозинский.

С ними всеми, как и многими другими, Гумилев был на ты. Он вообще, несмотря на свою «чопорность» и церемонность, удивительно легко переходил на ты.

С поэтами-москвичами отношения оставались более далекими – даже с теми, которых он, как Ходасевича и Белого, очень высоко ставил.

Тогда, в начале лета девятнадцатого года, я и мечтать не смела, что скоро, очень скоро я не только буду здороваться «за руку» с Гумилевым, но что Гумилев будет провожать меня домой.

В Студии занятия в отличие от «Живого слова» происходили не вечером, а днем и кончались не позже шести часов.

Только что кончилась лекция Гумилева, и я в вестибюле надевала свою широкополую соломенную шляпу, – несмотря на революцию, мы не выходили из дома без шляпы. И даже без перчаток. Перчаток у меня было множество – целые коробки и мешки почти новых, длинных бальных перчаток моей матери, сохранявшихся годами аккуратно, «на всякий случай». И вот действительно дождавшихся «случая».

Я перед зеркалом заправляла бант под шляпу и вдруг увидела в рамке зеркала рядом со своим лицом улыбающееся лицо Гумилева.

От удивления я не оборачиваясь продолжала смотреть в зеркало на него и на себя, как будто это не наши отражения, а наш общий портрет.

Это, должно быть, длилось только мгновение, но мне показалось, что очень долго.

Лицо Гумилева исчезло из зеркала, и я обернулась.

– Вы, кажется, – спросил он, – живете в конце Бассейной? А я на Преображенской. Нам с вами по дороге, не правда ли?

И не дожидаясь моего ответа, он отворил входную дверь, пропустив меня вперед.

Я иду рядом с Гумилевым. Я думаю только о том, чтобы не споткнуться, не упасть. Мне кажется, что ноги мои невероятно удлиннились, будто я, как в детстве, иду на ходулях. Крылья за плечами? Нет, я в тот первый день не чувствовала ни крыльев, ни возможности лететь. Все это было, но потом, не сегодня, не сейчас.

Сейчас – я совершенно потрясена. Это слишком неожиданно. И скорее мучительно.

Гумилев идет со мной рядом, смотрит на меня, говорит со мной, слушает меня.

Впрочем, слушать ему не приходится. Я молчу или односложно отвечаю: «да» и «нет».

Кровь громко стучит в моих ушах, сквозь ее шум доносится глухой голос Гумилева:

– Я несколько раз шел за вами и смотрел вам в затылок. Но вы ни разу не обернулись. Вы, должно быть, не очень нервны и не очень чувствительны. Я – на вашем месте – не мог бы не обернуться.

Я еще более смущаюсь от упрека – поэты нервны и чувствительны, и он бы на моем месте...

– Нет, – говорю я. – Я нервна. Я очень нервна.

И будто в доказательство того, что я действительно очень нервна, руки мои начинают дрожать и я роняю свои тетрадки на тротуар. Тетрадки и листы разлетаются веером у моих ног. Я быстро нагибаюсь за ними и стучаюсь лбом о лоб тоже нагнувшегося Гумилева. Шляпа слетает с моей головы и ложится рядом с тетрадками.

Я стою красная, не в силах пошевелиться от ужаса и стыда.

Все погибло. И навсегда...

Убежать не попрощавшись? Но я застыла на месте и бессмысленно слежу за тем, как Гумилев собирает мои записки и аккуратно складывает их. Он счищает пыль с моей шляпы и протягивает ее мне.

– Я ошибся. Вы нервны. И даже слишком. Но это пройдет.

Бывают головокруженья
У девушек и стариков —

цитирует он самого себя. – Наденьте шляпу. Ну, идемте!

И я снова шагаю рядом с ним. Он как ни в чем не бывало говорит о движении на парижских улицах и как трудно их пересекать.

– А у нас теперь благодать, иди себе по середине Невского, никто не наедет. Я стал великим пешеходом. В день верст двадцать делаю. Но и вы ходите совсем недурно. И в ногу, что очень важно.

Я не заметила, что иду с ним в ногу. Мне казалось, напротив, что я все время сбиваюсь с шага.

Возле пустыря, где прежде был наш Бассейный рынок, я останавливаюсь. Раз Гумилев живет на Преображенской, ему надо здесь сворачивать направо.

Но Гумилев продолжает шагать.

– Я провожу вас и донесу ваши тетрадки. А то того и гляди вы растеряете их по дороге.

И вдруг совершенно неожиданно добавляет:

– Из вас выйдет толк. Вы очень серьезно занимаетесь, и у вас большие способности.

Неужели я не ослышалась? Неужели он действительно сказал: «У вас большие способности. Из вас выйдет толк»?

– До завтра, – говорит Гумилев.

Завтра? Но ведь завтра у него в Студии лекции нет. Только через три дня, в пятницу. Не до завтра, а до после-послезавтра, но я говорю только:

– До свиданья, Николай Степанович. Спасибо!

Спасибо за проводы и, главное, за «из вас выйдет толк». Неужели он действительно думает, что из меня может выйти толк?

Я вхожу в подъезд нашего дома, стараясь держаться спокойно и благовоспитанно. Я не позволяю себе оглянуться. А вдруг он смотрит мне вслед?

Но на лестнице сразу исчезают моя сдержанность и благовоспитанность. Я перескакиваю через три ступеньки. Я нетерпеливо стучу в дверь – звонки давно не действуют.

Дверь открывается.

– Что ты так колотишь? Подождать не можешь? Пожар? Потоп? Что случилось?

– Случилось! – кричу я. – Случилось! Гумилев! Гумилев...

– Что случилось с Гумилевым?

– Гумилев меня проводил! – кричу я в упоенье. Но дома меня не понимают.

– Ну и?..

Как «ну и...»? Разве это не чудо? Не торжество?

Я бегу в залу, кружусь волчком по паркету, ношусь взад и вперед большими парадными, «далькрозированной» прыжками, чтобы как-нибудь выразить свой восторг. И вдруг на бегу поджимаю ногу и падаю навзничь. Этому меня тоже научила ритмическая гимнастика. Это совсем не опасно. Но мой отец в отчаянии:

– Сумасшедшая! Спину сломаешь. Довольно, довольно!.. Успокойся!..

Но я ничего не слышу. Я в экстазе, в пароксизме радости.

Такой экстаз, такой пароксизм радости я видела только раз в моей жизни, много лет спустя, в фильме «La guée vers l'or»⁵ – Чаплин от восторга выпускает пух из подушек и, совсем как я когда-то, неистовствует.

Успокойся!.. Но разве можно успокоиться? И разве можно будет сегодня ночью уснуть? И как далеко до завтра, до после-послезавтра!..

Но уснуть все же удается. И завтра очень скоро наступает. И в Студии все идет совсем обыкновенно – лекция Чуковского. Лекция Лозинского. И вот уже конец. И надо идти по той самой дорожке, где вчера...

Я нарочно задерживаюсь, чтобы одной возвратиться домой, чтобы все снова пережить. Вот тут, в вестибюле, он сказал: «Нам по дороге», – и распахнул дверь и снял шляпу, пропуская меня, будто я важная дама. До чего он вежлив и церемонен...

Я иду по тому же тротуару, по которому я вчера шла вместе с Гумилевым, и повторяю: «Из вас выйдет толк...»

Мне кажется, что Гумилев все еще идет рядом со мной. Как глупо я вела себя вчера. Вряд ли он еще раз захочет проводить меня домой. Но и этого единственного раза и воспоминаний о нем мне хватит надолго. На очень долго.

– О чем вы так задумались?

Я подымаю глаза и вижу Гумилева. Он стоит в своем коричневом поношенном пиджаке, в фетровой шляпе, с портфелем под мышкой, прислонившись к стене, так спокойно, будто он у себя дома, а не на улице.

– Как вы долго не шли. Я жду вас тут уже кусочек вечности.

– Отчего?.. – спрашиваю я только.

Но это значит: отчего вы меня ждете? И он понимает.

– Я возвращался после лекции у красноармейцев. Очень славные красноармейцы. Ведь я вчера сказал вам – до завтра, помните? А я всегда держу слово. Вы в этом убедитесь, когда вы меня лучше узнаете... Вы ведь меня еще совсем не знаете.

Да, я тогда действительно еще совсем не знала его.

С этого дня я стала его узнавать – все лучше и лучше. Я все же ни тогда, ни теперь не могу сказать, что знала его совсем, до конца.

Кто был Гумилев?

Поэт, путешественник, воин, герой – это его официальная биография, и с этим спорить нельзя.

Но... но из четырех определений мне хочется сохранить только «поэт». Он был прежде всего и больше всего поэтом. Ни путешественника, ни воина, ни даже героя могло не выйти из него – если бы судьба его сложилась иначе. Но поэтом он не мог не быть.

Он сам говорил:

⁵ «Золотая лихорадка» (фр.).

– Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Мои самые далекие детские воспоминания уже свидетельствуют об этом. Мое мироощущение всегда было поэтическим. Я был действительно

Колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь...

Гумилев утверждал, что стихотворение тем богаче и совершеннее, чем больше разнообразных и даже противоречивых элементов входят в него.

Если это определение отнести не к стихотворению, а к поэту – Гумилев был совершенным поэтом. Сколько в нем совмещалось разнообразных элементов и противоречивых черт.

Знал ли кто-нибудь Гумилева по-настоящему, до конца? Мне кажется – нет. Никто.

Гумилеву очень нравилось, что я старалась никому не подражать. Никому. Даже Ахматовой. Особенно Ахматовой.

И в «Живом слове» и в Студии слушательницы в своих стихотворных упражнениях все поголовно подражали Ахматовой, властительнице их дум и душ.

Но как часто бывает, слишком страстное увлечение принесло поклонницам Ахматовой не только добро, но и зло.

Они вдруг поняли, что они тоже могут говорить «о своем, о женском». И они заговорили.

На лекциях Гумилева мне пришлось быть свидетельницей безудержного потока подражаний Ахматовой.

Чаще всего эти подражания принимали даже несколько комический оттенок и являлись попросту перепевами и переложениями стихов «Четок». В них непременно встречалась несчастная любовь, муж, сын или дочка. Ведь в «Умер вчера сероглазый король» говорилось о дочке.

Так, семнадцатилетняя Лидочка Р., краснея и сбиваясь, читала высоким, срывающимся голосом перед Гумилевым, царственно восседавшим на кафедре:

Сердце бьется медленно, устало,
На порог я села на крыльцо.
Я ему сегодня отослала
Обручальное кольцо.

Лицо Гумилева выражает удивление. Он пристально вглядывается в нее.

– Никак не предполагал, что вы уже замужем. Позвольте узнать – давно?

Лидочка Р. еще сильнее краснеет.

– Нет. Я не замужем, нет!

Гумилев недоумевающе разводит руками:

– Как же так? Помилуйте. Кому же вы отослали кольцо? Жениху? Любовнику?..

Лидочка закусывает нижнюю губу в явном, но напрасном усилии не расплакаться и молчит.

– А, понимаю! – продолжает Гумилев. – Вы просто взяли мужа, как и крыльцо, из ахматовского реквизита. Ах вы бедная подахматовка!

«Подахматовками» Гумилев называл всех неудачных подражательниц Ахматовой.

– Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», – объяснял он, – подахматовки. Вроде мухоморов.

Но, несмотря на издевательства Гумилева, «подахматовки» не переводились.

Уже не Лидочка Р., а другая слушательница самоуверенно продекламировала однажды:

Я туфлю с левой ноги
На правую ногу надела.

– Ну и как? – прервал ее Гумилев. – Так и доковыляли домой? Или переобулись в ближайшей подворотне?

Но конечно, многие подражания были лишены комизма и не служили причиной веселья Гумилева и его учеников. Так строки:

Одною болью стало больше в мире,
И в небе новая зажглась звезда... —

даже удостоились снисходительной похвалы мэтра.

– Если бы не было: «Одной улыбкой меньше стало. Одною песней больше будет», – прибавил он.

Мы с Гумилевым часто ходили гулять не только летом, но и осенью, и даже зимой.

В Летнем саду мы бывали редко. Летний сад был гораздо дальше, хотя в то время мы «расстоянием не стеснялись». Сейчас кажется совершенно невероятным, что мы, преодолевшие не меньше пятнадцати верст в день, еще находили силы для прогулок – силы и охоту.

Таврический сад. Снег скрипит под ногами. Как тихо, как безлюдно. Мы одни. Кроме нас, нет никого. Ни у кого нет ни времени, ни желания гулять. Только мы и вороны на снежных деревьях.

Гумилев читает свои стихи:

Все чисто для чистого взора.
И царский венец и суму,
Суму нищеты и позора
Я все беспечально возьму...

И тем же тоном:

– Воронам не нравится. Вот они и каркают.

– Вороны глупы и ничего не понимают в стихах, – говорю я. – На свою голову каркают! На свою!..

Мы подходим к пруду и, держась друг за друга, спускаемся на лед.

– Здесь я когда-то каталась на коньках.

– Совсем не нужно коньков, чтобы кататься, – заявляет Гумилев и начинает выделывать ногами замысловатые фигуры, подражая конькобежцам, но, поскользнувшись, падает в сугроб. Я стою над ним и смеюсь, он тоже смеется и не спешит встать.

– Удивительно приятно лежать в снегу. Тепло и уютно. Чувствую себя настоящим самоедом в юрте. Вы идите себе домой, а я здесь останусь до утра.

– Конечно, – соглашаюсь я. – Только на прощание спрошу вас:

В самом белом, в самом чистом саване
Сладко спать тебе, матрос?

И уйду. А завтра

Над вашим смертным ложем

Взовьется тучей воронье...

Но он уже встает, забыв о своем желании остаться лежать в сугробе до утра, отряхает от снега доху и спрашивает недовольным тоном:

– Почему вы цитируете Блока, а не меня?

Мы выбираемся на берег. Еще день и совсем светло. Но на бледно-сером зимнем небе из-за снежных деревьев медленно встает большая круглая луна. И от нее в саду еще тише, еще пустынное. Я смотрю не отрываясь на луну. Мне совсем не хочется больше смеяться. Мне грустно, и сердце мое сжимается, как от предчувствия горя. Нет, у меня никогда не будет горя! Это от луны, – уговариваю я себя. И будто бессознательно желая задобрить луну, протягивая к ней руки, говорю:

– Какая прелестная луна!

– Очень она вам нравится? Правда? Тогда мне придется... Вы ведь знаете, – важно заявляет он, – мне здесь все принадлежит. Весь Таврический сад, и деревья, и вороны, и луна. Раз вам так нравится луна, извольте...

Он останавливается, снимает оленью ушастую шапку и отвечает мне церемонный поклон:

– Я вам луну подарю. Подарок такой не снился египетскому царю.

Много лет спустя, уже после войны, в Париже, я вставила его тогдашние слова в свои стихи.

А третий мне поклонился,
Я вам луну подарю.
Подарок такой не снился
Египетскому царю.

Сделав мне такой царский подарок, Гумилев не забыл о нем, а часто вспоминал о своей щедрости.

– Подумайте только, кем вы были и кем вы стали. Ведь вам теперь принадлежит луна. Благодарны ли вы мне?

Да, я была ему благодарна. Я и сейчас еще благодарна ему.

Гумилев был моим настоящим учителем и наставником. Он занимался со мной каждый день, давал книги поэтов, до тех пор знакомых мне только по имени, и требовал критики прочитанного. Он был очень строг и часто отдавал обратно книгу.

– Вы ничего не поняли. Прочтите-ка еще и еще раз. Стихи не читают как роман. – И, пожимая плечами, добавлял: – Неужели я ошибся в вас?

Чтобы доказать ему, что он не ошибся, я просиживала часами над стихами, не нравившимися и непонятными мне, стараясь вникнуть в них.

Так я благодаря Гумилеву узнала и изучила всевозможных поэтов – не только русских, но и английских, французских и даже немецких, хотя сам Гумилев немецкого языка не знал. И помнил по-немецки только одну строку, которую приписывал Гейне:

Их бин дер гот дер музика.

Этот «гот дер музика», как единственный пример немецкого стихосложения, часто вспоминался им.

Книг у Гумилева было множество. Ему удалось с помощью своих слушателей-красноармейцев привезти из Царского Села свою библиотеку.

Но мне доказать, что Гумилев «не ошибся» во мне, было иногда не по силам. Так, однажды он достал с полки том Блейка и протянул его мне. С Блейком я была знакома с детства и собиралась уже удивить Гумилева своими познаниями:

– Tiger, tiger in the wood...⁶ – начала я.

Но Гумилев, не обратив внимания на «тайгера», открыл книгу.

– Вот тут я не совсем понимаю. Вы лучше знаете английский, чем я. Читайте вслух и переводите.

И я послушно стала читать. Я читала и ничего не понимала. Какие-то философские термины, какие-то математические исчисления, извлечение корней – тут же нарисованных. Отдельные понятные слова в непонятном сочетании. Я с трудом прочла полстраницы и остановилась.

– Ну переводите же!

– Не могу, Николай Степанович. Я ничего не понимаю.

– Почему же вы не понимаете?

– Оттого, что слишком сложно. Я даже не поняла, о чем это.

Гумилев разочарованно развел руками и свистнул.

– Вот так-так! Значит, вы невежественны, как карп?

Я киваю.

– Даже невежественнее карпа, по-видимому, – ничего не понимаю.

– А я всегда был уверен, что поэты самые умные из людей и что философию они постигают, не учась ей. Что ж, я, по-видимому, ошибся. Я очень ошибся в вас.

Я мигаю обиженно и морщу нос.

– Ах, пожалуйста, – неожиданно раздражается Гумилев, – не вздумайте плакать. Если посмеете заплакать, я с вами перестану заниматься. Кисейные недотроги, обижающиеся на каждое слово, не могут быть поэтами. Поняли? Запомнили?

Я поняла и даже кивнула в знак того, что запомнила.

– Ну вот и отлично, – одобрил меня Гумилев. – Но неужели вы совсем не знаете философии? Ведь философия необходима поэту. Неужели вы не читали «Критики чистого разума» Канта?

– Не читала, – сознаюсь я. – Пробовала, но не поняла.

– И Шопенгауэра не читали? И Ницше?

– Не читала.

– Неужели? – Левый глаз Гумилева с недоверием уставляется на меня, правый с таким же недоверием и любопытством смотрит в огонь печки.

– Даже забавно. Но ничего. Мы это исправим. – Он встает, идет в спальню и возвращается, держа в руке книгу в синем сафьяновом переплете.

– Начнем с Ницше. К тому же он еще и поэт. Это совсем легко, увидите. Легко и понятно. Вот вам – «Так говорил Заратустра». Если и это не поймете, ну тогда я действительно ошибся.

Но я поняла. И Гумилев в награду подарил мне своего «Так говорил Заратустра» в сафьяновом переплете, сделав на нем в шутку неприятную надпись из «Бориса Годунова».

Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни...

Этот Ницше прибыл со мной в эмиграцию и погиб только во время бомбардировки нашего дома в Биаррице в 1944 году.

⁶ Тигр, тигр в лесу (англ.).

Ницше я прочла без особого труда. Прочла я и «По ту сторону добра и зла», и все книги Ницше, бывшие у Гумилева.

Ницше – знакомство с ним помогло мне многое понять в самом Гумилеве. Я поняла, что Ницше имел на него огромное влияние, что его напускная жестокость, его презрение к слабым и героический трагизм его мироощущения были им усвоены от Ницше.

И часто потом я подмечала, что он сам, не отдавая себе в этом отчета, повторял мысли Ницше.

Он говорил:

– Герои и великие поэты появляются во времена страшных событий, катастроф и революций. Я это чувствую.

Или:

– В каком-то смысле мне иногда хочется, чтобы люди стали еще злее и мир еще более ужасным и страшным. Люди, не умеющие переносить несчастье, возбуждают во мне презрение, а не сочувствие.

Но я знала, что это только поза, только игра в бессердечие и жестокость, что на самом деле он жалостлив и отзывчив. И даже сентиментален.

Как он любил вспоминать свое детство! У него теплый голос и менялось выражение лица, когда он произносил:

– Я был болезненный, но до чего счастливый ребенок...

– Мое детство было до странности волшебным, – рассказывал он мне. – Я был действительно колдовским ребенком. Я жил в каком-то мною самим созданном мире, еще не понимая, что это мир поэзии. Я старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Не только вещей, но и животных. Так, у нашей кошки Мурки были крылья, и она ночами улетала в окно, а собака моей сводной сестры, старая и жирная, только притворялась собакой, а была – это я один знал – жабой. Но и люди вокруг меня были не тем, чем казались, что не мешало мне их всех – зверей и людей – любить всем сердцем. Мое детское сердце. Для поэта важнее всего сохранить детское сердце и способность видеть мир преображенным.

О своем детстве он мог говорить без конца.

– Детство самая главная, самая важная часть жизни. У поэта непременно должно быть очень счастливое детство. – И, подумав, добавлял: – Или очень несчастное. Но никак не скучное, среднее, серое. Я родился поэтом, а не стал им, как другие. Да, я действительно был колдовской ребенок, маленький маг и волшебник. Таким я сам себя считал. Тогда уже во мне возникло желание воплотить

мечту мою,
Будить повсюду обожанье.

В сущности, это ключ к пониманию меня. Меня считают очень сложным, но это неправильно – я прост. Вот когда вы меня хорошо узнаете, вы поймете, до чего я прост.

Когда вы меня хорошо до конца узнаете...

Но мне, повторяю, несмотря на наши почти ежедневные встречи, так и не удалось его узнать – до конца. Мы возвращаемся из Таврического сада.

– Я в молодости был ужасным эстетом и снобом, – рассказывает Гумилев, – я не только носил цилиндр, но завивал волосы и надевал на них сетку. И даже подкрашивал губы и глаза.

– Как? Не может быть. «Конквистадор в панцире железном», африканский охотник подкрашивался, мазался?

Должно быть, в моем голосе звучит негодование.

Гумилев отвечает не без обиды:

– Да, представьте себе, мазался. Тогда это, с легкой руки Кузмина, вошло в моду, хотя это вас и возмущает. Почему одним женщинам позволено исправлять природу, а нам запрещено? При дворе Генриха Третьего мужчины красились, душились и наряжались больше женщин, что не мешало им быть бесстрашными и храбрыми, как львы.

– Нет, все-таки противно, – говорю я. – И у вас, наверно, был презабавный вид.

Гумилев недовольно пожимает плечами.

– Другая эпоха, другие вкусы. Мы все были эстетами. Ведь не я один. Много поэтов тогда подкрашивалось. Теперь мне это и самому смешно. Но тогда очень нравилось – казалось необычайно смело и остро. Впрочем, я все это бросил давно, еще до женитьбы на Ахматовой.

Мы продолжаем идти, и он снова «погружается в воспоминания»:

– Я ведь всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное значение внешности и считал себя очень некрасивым. И мучился этим. Я действительно, должно быть, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, ужасный цвет кожи и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запираю дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что могу силой воли переделать свою внешность. Мне казалось, что я с каждым днем становлюсь немного красивее. Я удивлялся, что другие не замечают, не видят, как я хорошею. А они действительно не замечали.

Я в те дни был влюблен в хорошенькую гимназистку Таню. У нее, как у многих девочек тогда, был «заветный альбом с опросными листами». В нем подруги и поклонники отвечали на вопросы: «Какой ваш любимый цветок и дерево? Какое ваше любимое блюдо? Какой ваш любимый писатель?»

Гимназистки писали – роза или фиалка. Дерево – береза или липа. Блюдо – мороженое или рябчик. Писатель – Чарская.

Гимназисты предпочитали из деревьев дуб или ель, из блюд – индюшку, гуся и борщ, из писателей – Майн Рида, Вальтер Скотта и Жюль Верна.

Когда очередь дошла до меня, я написал не задумываясь: «Цветок – орхидея. Дерево – баобаб. Писатель – Оскар Уайльд. Блюдо – канандер».

Эффект получился полный. Даже больший, чем я ждал. Все стушевались передо мною. Я почувствовал, что у меня больше нет соперников, что Таня отдала мне свое сердце.

И я, чтобы подчеркнуть свое торжество, не стал засиживаться, а отправился домой, сопровождаемый нежным, многообещающим взглядом Тани.

Дома я не мог сдержаться и поделился с матерью впечатлением, произведенным моими ответами. Она выслушала меня внимательно, как всегда.

– Повтори, Коленька, какое твое любимое блюдо. Я не расслышала.

– Канандер, – важно ответил я.

– Канандер? – недоумевая, переспросила она.

Я самодовольно улыбнулся:

– Это, мама, – разве ты не знаешь? – французский очень дорогой и очень вкусный сыр. Она всплеснула руками и рассмеялась:

– Камамбер, Коленька, камамбер, а не канандер!

Я был потрясен. Из героя вечера я сразу превратился в посмешище. Ведь Таня и все ее приятели могут спросить, узнать о канандере. И как она и они станут надо мной издеваться. Канандер!..

Я всю ночь думал, как овладеть проклятым альбомом и уничтожить его. Таня, я знал, держала его в своем комодe под ключом.

Проникнуть в ее комнату, взломать комод и выкрасть его невозможно – у Тани три брата, родители, гувернантка, прислуга – к ней в комнату не проскользнешь незамеченным.

Поджечь ее дом, чтобы проклятый альбом сгорел? Но квартира Тани в третьем этаже, и пожарные потушат пожар прежде, чем огонь доберется до нее.

Убежать из дому, поступить юнгой на пароход и отправиться в Америку или Австралию, чтобы избежать позора? Нет, и это не годилось. Выхода не было.

К утру я решил просто отказаться от разделенной любви, вычеркнуть ее из своей жизни и больше не встречаться ни с Таней, ни с ее приятелями. Они, к счастью, все были не в одном со мною классе, и мне не стоило большого труда избегать их.

Но все это оказалось тщетной предосторожностью. Никто из них, по-видимому, не открыл, что такое «канандер». Нелюбопытные были дети. Неинтеллигентные.

Таня напрасно присылала мне розовые записки с приглашением то на именины, то на пикник, то на елку. Я не устаивал их ответом. А на гимназическом балу она прошла мимо меня, не ответив на мой поклон.

– А вы все продолжали ее любить? – спрашиваю я.

Он машет рукой.

– Какое там. Сразу как ножом отрезало. От страха позора прошло бесследно. У меня в молодости удивительно быстро проходила влюбленность.

– Не только в молодости, но и сейчас, кажется, Николай Степанович, – замечаю я насмешливо.

Он весело кивает.

– Да, что греха таить. На бессмертную любовь я вряд ли способен. Хотя кто его знает? Голову на отсечение не дам. Ведь я сам Дон Жуан до встречи...

Но о Дон Жуане он в тот день не успевает мне ничего рассказать.

Прямо перед нами толпа прохожих. На что они смотрят? Мы подходим ближе и видим яростно грызущихся собак, грызущихся не на жизнь, а на смерть. Они сцепились так, что кажутся большим, оглушительно рычащим, катающимся по мостовой клубком черно-рыжей взъерошенной шерсти. Прохожие кричат и суетятся вокруг них.

– Воды! Притащите воды. Надо их разлить. А то загрызут друг друга.

– Откуда достать воды?

– А жаль, красивые, здоровые псы! Ничего с ними не поделаешь.

Кто-то боязливо протягивает руку, стараясь схватить одну из собак за ошейник.

– Осторожно! Разъярились псы, осатанели, отхватят руку! Их бы из рогатки, тогда пожалуй!.. Или оглоблей.

– Если бы мы были в Англии, – говорит Гумилев, – тут уже начали бы пари держать. Кто за черного, кто за рыжего. Азартный народ англичане.

Гумилев выпрямляется и тем же шагом идет прямо на грызущихся собак.

– А я готов пари держать, что синий бой кончится вничью.

– Николай Степанович! – Я не успеваю удержать его за полу дохи. – Ради Бога, не трогайте их!

Он властным жестом раздвигает прохожих, и они расступаются перед ним, – и вдруг он, не останавливаясь, а продолжая спокойно идти, со всех сил бьет ногой в кружащихся на снегу, сцепившихся мертвой хваткой собак.

Мгновенье – и собаки, расцепившись, отскакивают друг от друга и с воем стремглав, поджав хвосты, бросаются в разные стороны.

И вот их уже не видно.

А Гумилев так же спокойно, не устаивая вниманием всеобщее одобрение прохожих, возвращается ко мне.

– Этому приему я научился еще у себя в имении. У нас там злющие псы овчарки. Надо только правильно удар рассчитать, – говорит он с напускным равнодушием, но я вижу, что он очень горд одержанной победой. Будто он разнял дерущихся львов, рискуя жизнью.

– Я так испугалась. Ведь они могли вас разорвать на куски, вы просто герой, Николай Степанович!

Он снисходительно улыбается мне:

– Ну, уж и герой!.. Скажете тоже...

В тот вечер Гумилев позвонил мне по телефону, предупреждая меня, что, если я ничем не занята, он зайдет ко мне через час.

Я ничем не была занята, но если бы у меня не было ни минуты свободной, я все равно ответила бы:

– Конечно, приходите! Я страшно рада.

Гумилев очень редко пользовался телефоном, и то, что он позвонил мне, меня действительно страшно обрадовало. Я не видела его несколько дней. Он уезжал в Бежецк к матери и жене и только сегодня вернулся.

Я ради такого исключительного случая решила затопить камин в кабинете. Обычно у нас топилась только «буржуйка» в столовой. У Гумилева камина не было, а ему очень нравилось сидеть на медвежьей шкуре, глядя в огонь камина.

– До чего приятно, – говорил он, жмурясь от удовольствия, – будто меня шоколадным тортом угощают.

Я заняла у наших соседей четыре полена, с обещанием отдать шесть поленьев на будущей неделе. Ростовщические условия, но я согласилась на них.

Гумилев пришел вовремя. Он всегда был очень точен и ненавидел опаздывать.

– Пунктуальность – вежливость королей и, значит, поэтов, ведь поэты короли жизни, – объяснял он, снимая свою оленью доху и ушастую шапку, известную всему Петербургу.

В те дни одевались самым невероятным образом. Поэт Пяст, например, всю зиму носил канотье и светлые клетчатые брюки, но все же гумилевский зимний наряд бил все рекорды оригинальности.

Мы уселись в кабинете перед камином. Он очень доволен своей поездкой и рассказывает мне о ней.

– Как быстро растут дети. Леночка уже большая девочка, бегает, шумит и капризничает. Она и Левушка как две капли воды похожи на меня. Они оба разноглазые.

«Разноглазые», то есть косые. Меня это скорее огорчало. Особенно Леночка. Бедная Леночка! А ее мать такая хорошенькая.

– Левушка очень милый и умный мальчик, а Леночка капризна. Знаете, мне иногда трудно поверить, что это мои дети, что я их отец. Отец – как-то совсем неприложимо ко мне. Совсем не подходит. Я хотел бы вернуться в детство.

*Peut-on jamais guerir de mon enfance?*⁷

Как это правильно. Мне, слава Богу, не удалось «guerir de mon enfance».

Он поправляет дрова в камине, хотя они сухие и хорошо горят. Но ему всегда хочется, чтобы пламя было еще ярче и дрова еще скорее сгорали. Он говорит, задумчиво глядя в огонь:

– Ничего так не помогает писать стихи, как воспоминания детства. Когда я нахожусь в особенно творческом состоянии, как теперь, я живу будто двойной жизнью: наполовину здесь, в сегодняшнем дне, наполовину там, в прошлом, в детстве. В особенности ночью.

⁷ Можно ли когда-нибудь вылечиться от детства? (фр.)

Во сне – не странно ли – я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между сном и пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строчки новых стихов. Но конечно, иногда это предчувствие обманывает. И сколько ни бьешься, ничего не выходит.

И все же это ощущение, если его только уметь сохранить, помогает потом весь день. Легче работать и веселее дышать.

Хорошо тоже вспоминать вслух свое детство. Тогда переживаешь его острее от желания заставить другого почувствовать то же, что чувствую я. Но это редко удается. Трудно найти настоящего слушателя, способного действительно заинтересоваться чужим детством. Сейчас же начнутся бесконечные банальные рассказы. – Он поворачивается ко мне. – А вот мне Бог послал ваши уши, – добавляет он полунасмешливо. – Всегда готовые меня слушать уши. Это очень приятно. Ведь все хотят говорить не «обо мне и о тебе», как полагается в идеальной беседе, а «обо мне и о себе». Слушать никто никого не желает. За уши я вас больше всего и ценю. За хорошие уши, умеющие слушать.

Да, я умела слушать. Не только слушать, но и переживать вместе с ним его воспоминания. И запоминать их навсегда.

Он подбрасывает новое полено в камин, последнее полено. Но в моем «дровяном запасе» еще сломанный стул и два ящика. Следовательно, можно не жалеть о полене.

– Меня очень баловали в детстве, – продолжает Гумилев. – Больше, чем моего старшего брата.

Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фантастически, так,

Как любит только мать
И лишь больных детей.

И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной.

Он мечтательно улыбается, снова глядя в огонь, и продолжает:

– Это было летом в деревне. Мне было шесть лет. Моя мать часто рассказывала мне о своих поездках за границу, об Италии. Особенно о музеях, о картинах и статуях. Мне казалось, что она скучает по музеям.

И вот в одно июльское утро я вбежал к ней в спальню очень рано. Она сидела перед туалетом и расчесывала свои длинные волосы. Я очень любил присутствовать при том, как она причесывается и одевается с помощью горничной Вари. Тогда ведь это было длительное и сложное дело – корсет, накрахмаленные нижние юбки, платье, застегивающееся на спине бесконечными маленькими пуговками. Но в то утро я нетерпеливо стал дергать ее за руку: «Идем, идем, мама, в сад. Я приготовил себе сюрприз».

Я был так взволнован, что она уступила и как была, в пеньюаре, в ночных туфельках, с распущенными волосами, согласилась идти со мной.

В саду я взял ее за руку:

– Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу. Я поведу тебя.

И она, смеясь, дала мне вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.

– Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!

Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты, на них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда.

– Это для тебя, мама. Я сам все сделал! Для тебя!

Она с минуту молча смотрела, будто не понимая, потом вырвала свою руку из моей.

– Как ты мог! Какой ужас! – И, не оглядываясь, побежала в дом. Я бежал за ней, совершенно сбитый с толку. Я ждал восторженных похвал и благодарности, а она кричала:

– Скверный, злой, жестокий мальчишка! Не хочу тебя видеть!

Добежав до крыльца, я остановился и заплакал. Она не поняла. Она не сумела оценить моего первого творчества. Я чувствовал себя оскорбленным. Раз она не любит меня, не хочет меня больше видеть, я уйду от нее. Навсегда. И я повернул обратно, прошел весь сад, вышел на дорогу и пошел по ней в лес. Я знал, что в лесу живут разбойники, и тут же решил стать и сам разбойником, а может быть даже – у меня всегда были гордые мечты – стать атаманом разбойников.

Но до леса мне дойти не удалось – он был в пяти верстах. Меня очень скоро хватились, и за мной уже неслась погоня. Брат и двое дворовых верхом, мама в коляске.

Пришлось вернуться.

Нет, меня не бранили и не наказали за попытку бегства из дома. Напротив даже. Возвращение блудного сына было, как и полагается, пышно отпраздновано – мать подарила мне книжку с картинками и игрушечный лук со стрелами, а к обеду подали мои любимые вареники с вишнями. Но моей разбойничьей карьере был положен конец. А жаль! Из меня мог бы выйти лихой атаман разбойников.

Он смеется, и я тоже смеюсь. Я никак не могу представить себе Гумилева разбойничьим атаманом. Впрочем, как и гусаром Смерти или африканским охотником на львов. Не могу. У него для этого на редкость неподходящая наружность. Он весь насквозь штатский, кабинетный, книжный. Я не понимаю, как он умудрился наперекор своей природе стать охотником и воином.

А он, внимательно глядя мне в лицо, уже отвечает мне, будто читает мои мысли:

– Я с детских лет был болезненно самолюбив. Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрился забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчишки не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость.

Но учился я скверно. Я почему-то «не помещал своего самолюбия в ученье». Я даже удивляюсь, как мне удалось окончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не мог научиться. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства.

Я недоумеваю. Я спрашиваю:

– Но какое же достоинство безграмотность?

Он нетерпеливо дергает плечом.

– Ах, всегда вы со своей плоской, трехмерной логикой. Моя безграмотность совсем особая. Ведь я прочел тысячи и тысячи книг, тут и попугай стал бы грамотным. Моя безграмотность свидетельствует о моем кретинизме. А мой кретинизм свидетельствует о моей гениальности. Поняли? Усвоили? Ну, ну, не хохлитесь! Не морщите нос! Я шучу.

Он, конечно, шутил. Впрочем, только наполовину. В свою гениальность он верил. И несколько не стеснялся своей безграмотности. Писал он действительно непостижимо неправильно. Когда ему указывали на его ошибки, он только удивленно качал головой:

– Кто его знает! Вы, пожалуй, правы. Пусть будет по-вашему.

Мне давно хотелось узнать, когда он начал сочинять стихи. Мне казалось, что непременно совсем маленьким, еще до времен музея.

– Нет, – говорит он, – гораздо позже музея. Как ни странно, я, несмотря на то что создал себе свой особый мир, в котором

...Каждый куст придорожный

Мне шептал: поиграй со мной,
Обойди меня осторожно
И узнаешь, кто я такой —

несмотря на мое поэтическое восприятие жизни и мира, о стихах не помышлял.

Зато с какой невероятной силой обрушились они на меня и завладели мною в четырнадцать лет. Мы переселились в Тифлис. И там, когда я проезжал впервые по Военно-Грузинской дороге, это и началось. Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг нахлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Я их знал и любил уже прежде. Но только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими и с утра до вечера, и с вечера до утра твердил их. Там же, в Тифлисе, я впервые напечатал в «Тифлисском листке» свои стихи. Такой уж я был решительный и напористый. Читать их вам не хочу. Верьте на слово, что дрянь. Да еще и демоническая. Не хочу. И не буду. Не приставайте.

Он отмахивается от меня рукой.

— Но запомните: с опубликованием своих шедевров спешить не надо. Как я жалел, что выпустил «Путь конквистадоров». Не сразу, конечно. Жалел потом. Скупал его и жег в печке. А все-таки, к моему стыду, этот «Путь конквистадоров» еще и сейчас где-то сохранился. Ничего не поделаешь. Не надо торопиться. И все же много стихов «Романтических цветов», уже настоящей книги, было написано еще в гимназии. Как, например:

Мой старый друг, мой верный Дьявол,
Пропел мне песенку одну...

Этот «старый друг» явился результатом двойки, полученной мною на уроке алгебры. И утешил меня.

Но это было уже в Царском, в последних классах.

В Тифлисе мы провели два года. Там-то я впервые и почувствовал себя тем самым поэтом, который

верил ветрам юга,
В каждом шуме слышал вздохи лир,
Говорил, что жизнь его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Гумилев любил играть во всевозможные, часто им самим тут же выдуманные игры. Особенно в «театр для себя».

Осенью 1919 года, накануне второй годовщины Октябрьской революции — ее готовились пышно отпраздновать, — он с таинственным видом сказал мне:

— Завтра и мы с вами поспразднуем и повеселимся. Не спрашивайте как. Увидите. Наденьте только ваше рыжее, клетчатое пальто и рыжую замшевую шапочку.

Мое рыжее, клетчатое пальто — я им впоследствии поменяюсь в стихах со статуей в Летнем саду:

А она уходит, напевая,
В рыжем, клетчатом пальто моем —

мое клетчатое пальто, привезенное мне во время войны из Лондона. Оно не очень теплое, а в Петербурге в конце октября холодно, и я уже ходила в шубке.

Но Гумилев настаивал:

– Наденьте непременно клетчатое пальто. Я зайду за вами в три часа, завтра.

Он пришел ровно в три. Хотя часов у него не было. Не только на руке или в кармане, но даже дома.

Его часы остановились еще летом. Часовщик за починку запросил несуразно дорого. Купить новые оказалось невозможным. С тех пор Гумилев научился определять время без часов, «шестым чувством-бис» – чувством времени.

– У гениев и кретинов чувство времени безошибочно. А я, как известно, помесь гения с кретином. Нет ничего удивительного, что за три месяца я ни разу никуда не опоздал. Все же, – рассказывал он мне как-то, – я сегодня утром так увлекся, переводя старинные французские песенки, что забыл обо всем, даже и о том, что должен быть на заседании «Всемирной литературы» на Моховой. Выхожу на улицу, спрашиваю первого встретившегося прохожего: «Простите, который час?» Тот в ответ развел недоумевающе руками: «А кто его знает?» – и побрел дальше.

Вот если бы у меня была кошка, я бы, как китайцы, по ее зрачкам определял время, до полминуты. Но заведешь кошку – она всех мышей переловит. А я их берегу на случай настоящего голода, про черный день. Михаил Леонидович Лозинский даже пустил слух, что я не только прикармливаю их, но и предательски здороваюсь со старшей мышью за лапку. Вздор. Не верьте. Даже по отношению к мышам я предателем быть не могу...

Я открыла Гумилеву сама – и ахнула. Он стоял в дверях в длинном, почти до пят, макферлане-крылатке, с зонтиком под мышкой. На шее – шотландский шарф. На голове большая кепка, похожая на блин с козырьком. Полевой бинокль через плечо на ремне.

– Hallo! – приветствовал он меня, – Let's go!⁸ – И он со смехом объяснил мне, что мы с ним англичане. Он – приехавший на Октябрьские торжества делегат Labor Party⁹, а я его секретарша.

Критически оглядев меня, он кивнул:

– Отлично. Настоящая english girl in her teens¹⁰, и даже волосы у вас английские – «оберн». Ведь и я настоящий англичанин, а?

Не знаю, как я, но он на англичанина совсем не был похож. Разве что на опереточного, прошлого века. И где только он откопал свой допотопный макферлан и эту нелепую кепку? Но он сам был так доволен своим видом, что я согласилась, сдерживая смех:

– Стопроцентный английский делегат.

– Помните, мы не говорим по-русски. Не понимаем ни слова. И в Петербурге впервые.

Мы вышли на Невский и там ходили в толпе, обмениваясь впечатлениями, и громко спрашивали, указывая пальцем то на Гостиный двор, то на Аничков дворец, то на Казанский собор:

– What is that?¹¹ – После многократно повторенного ответа Гумилев снимал с головы свой блин и невозмутимо флегматически заявлял:

– I see. Thank you ever so much¹²: Коза́-Сабó (Казанский собор).

И хотя мы и видом и поведением напоминали скорее ряженых, чем англичан, до нас все время доносилось:

– Англичане! Смотри, английские делегаты!

Я, не в силах сдержаться, громко смеялась. Гумилев же сохранял англосаксонскую выдержку.

⁸ Хэлло! Пошли! (англ.)

⁹ Лейбористской партии (англ.)

¹⁰ Английская молоденькая девушка (англ.)

¹¹ Что это? (англ.)

¹² Понятно. Премного благодарен (англ.)

Мы проделали все, что полагалось: смотрели на процессии, аплодировали и даже подпевали. Оба мы были абсолютно безголосы и лишены слуха. Но нам, как гостям-англичанам, все было позволено. Стоявший рядом с нами красноармеец с явным удовольствием и даже умилением слушал, как Гумилев выводил глухим, уходящим в небо голосом тут же сымпровизированный им перевод «Интернационала». Я же, между двумя приступами смеха, душившего меня, только выкрикивала какое-то вау-лау, лау-вау-ююю!

Окончив к общему удовольствию пение, мы вместе с толпой двинулись дальше. Гумилев стал спрашивать «The way to Wassilo Ostow»¹³, повторяя настойчиво «уосило осто». Но никто, несмотря на явное желание помочь иностранцу, не мог понять, чего он добивается. Гумилев благодарил, улыбался, азартно повторяя:

– Wonderful! O, yes! Your great Lenine! Karl Marx! O, yes!¹⁴ – и пожимал тянувшиеся к нему со всех сторон руки.

Какой-то особенно любезный товарищ вдруг громко заявил:

– Должно, от своих отбились. Заплутались. Надо их на трибуны доставить. Где милиционер?

Гумилев горячо – Thank you. Thank you!¹⁵ – поблагодарил его и, подхватив меня под руку, бросился со мной назад, в обратную сторону, будто увидел в толпе англичанина.

Забежав за угол, мы остановились перевести дух. Тут было тихо и пусто.

– Ох, даже жарко стало. – Гумилев весь трясся от смеха. – Хороши бы мы были на трибуне! Представляете себе? Еще сняли бы нас! И завтра наши портреты появились бы в «Красной газете»! И никто, решительно никто нас бы не узнал. Ну, нечего время терять, идем!

И мы снова вышли на Невский и смешались с толпой. Так мы проходили до самого вечера, в полном восторге.

Когда в толпе начались пляски, мы, хотя и с большим трудом, в особенности я, удержались и не пустились в пляс. Гумилев, для большей убедительности подняв зонтик к звездному небу, заявил:

– An Englishman does not dance in the street. It is shoc-king!¹⁶ – А я, ослабев от смеха, в изнеможении прислонилась к стене:

– Довольно. Больше не могу. Ведите меня домой!..

На следующий день в Студии Гумилев рассказал Лозинскому об «английских делегатах». Но Лозинский отнесся к нашему развлечению очень неодобрительно:

– С огнем играешь, Николай Степанович. А что было бы, если бы вас забрали в милицию?

– Ничего не было бы, – перебил его Гумилев. – Никто тронуть меня не посмеет. Я слишком известен.

Лозинский покачал головой:

– Я совсем не уверен, что не посмеют, если захотят. Не надо «им» подавать повода. Ты слишком легкомыслен.

– А ты, Михаил Леонидович, слишком серьезен и благоразумен. Мне скучно без развлечений.

Лозинский не сдавался:

– Никто не мешает тебе развлекаться, чем и как хочешь. Только не задевай «их». Оставь «их» в покое!

¹³ Дорогу на Васильевский остров (англ.).

¹⁴ Чудесно! О да! Ваш великий Ленин! Карл Маркс! О да! (англ.)

¹⁵ Спасибо. Спасибо! (англ.)

¹⁶ Англичанин не танцует на улице. Это шокирует! (англ.)

Гумилев достал свой большой черепаховый портсигар и постучал папиросой по крышке. Как всегда, когда был раздражен.

– Ты недорезанный буржуй, вот ты кто, Михаил Леонидович. Нам друг друга не понять. Тебе бы только покой и возможность работать у себя в кабинете. А мне необходимо *vivre dangereusement*¹⁷. Оттого мне вчера и весело было, что все-таки чуточку опасно – в этом ты прав. Без опасности и риска для меня ни веселья, ни даже жизни нет. Но тебе этого не понять...

Дома, когда я проболталась о том, как мы веселились на Октябрьских торжествах, мне сильно попало. Отец хотел даже «объясниться по этому поводу» с Гумилевым.

– Ты отдаешь себе отчет, что могла очутиться на Шпалерной с обвинением в шпионаже? – горячился отец. – Никто не поверил бы, что нашлись идиоты, для забавы разыгрывающие англичан-делегатов!

Нет, я не «отдавала себе отчета». Мне казалось, что перепуганные, затравленные «буржуи» боятся даже собственной тени и делают из мухи слона. И я, защищаясь, повторяла:

– Если бы ты знал, как весело было. И как мы смеялись.

– А если бы тебя и твоего Гумилева поволокли расстреливать, вы бы тоже смеялись и веселились?

На это отвечать было нечего.

Но в те дни я не верила не только в возможность быть расстрелянной, но и просто в опасность. «Кай смертен», и с ним, конечно, случаются всякие неприятности. Но меня это не касается. У меня было особое чувство полной сохранности, убеждение, что со мной ничего дурного не случится.

Зима 1919–1920 годов. Очень холодная, очень голодная, очень черная зима.

Я каждый день возвращаюсь поздно вечером из Института живого слова одна. По совершенно безлюдным, темным – «хоть глаз выколи» – страшным улицам. Грабежи стали бытовым явлением. С наступлением сумерек грабили всюду. В полной тишине, в полной темноте иногда доносились шаги шедшего впереди. Я старалась приблизиться к ним. Мне и в голову не приходило, что сейчас может вспыхнуть свет электрического фонарика и раздастся грозное: «Скидывай шубу!», мою котиковую шубку с горностаевым воротничком. Я ее очень любила. Не как вещь, а как живое существо, и называла ее Мурзик.

Мурзик нравился и Гумилеву. Иногда утром, зайдя неожиданно ко мне, Гумилев предлагал:

– А не прогулять ли нам Мурзика по снегу? Ему ведь скучно на вешалке висеть.

Я всегда с радостью соглашалась.

Проходя мимо церкви, Гумилев всегда останавливался, снимал свою оленью ушастую шапку и истово осенял себя широким крестным знаменем, «на страх врагам». Именно «осенял себя крестным знаменем», а не просто крестился.

Прохожие смотрели на него с удивлением. Кое-кто шарахался в сторону. Кое-кто смеялся. Зрелище действительно было удивительное. Гумилев, длинный, узкоплечий, в широкой дохе с белым рисунком по подолу, развевающимся как юбка вокруг его тонких ног, без шапки на морозе, перед церковью, мог казаться не только странным, но и смешным.

Но чтобы в те дни решиться так резко подчеркивать свою приверженность к гонимому «культу», надо было обладать гражданским мужеством.

Гражданского мужества у Гумилева было больше, чем требуется. Не меньше, чем легкомыслия.

¹⁷ Жить рискованно (*фр.*).

Однажды на вечере поэзии у балтфлотцев, читая свои африканские стихи, он особенно громко и отчетливо проскандировал:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

По залу прокатился протестующий ропот. Несколько матросов вскочило. Гумилев продолжал читать спокойно и громко, будто не замечая, не устаивая вниманием возмущенных слушателей.

Кончив стихотворение, он скрестил руки на груди и спокойно обвел зал своими косыми глазами, ожидая аплодисментов.

Гумилев ждал и смотрел на матросов, матросы смотрели на него.

И аплодисменты вдруг прорвались, загремели, загрохотали.

Всем стало ясно: Гумилев победил. Так ему здесь еще никогда не аплодировали.

– А была минута, мне даже страшно стало, – рассказывал он, возвращаясь со мной с вечера. – Ведь мог же какой-нибудь товарищ-матрос, «краса и гордость красного флота», вынуть свой небельгийский пистолет и пальнуть в меня, как палил в «портрет моего государя». И заметьте, без всяких для себя неприятных последствий. В революционном порыве, так сказать.

Я сидела в первом ряду между двумя балтфлотцами. И так испугалась, что у меня, несмотря на жару в зале, похолодели ноги и руки. Но я не думала, что и Гумилеву было страшно.

– И даже очень страшно, – подтвердил Гумилев. – А как же иначе? Только болван не видит опасности и не боится ее. Храбрость и бесстрашие не синонимы. Нельзя не бояться того, что страшно. Но необходимо уметь преодолеть страх, а главное, не показывать вида, что боишься. Этим я сегодня и подчинил их себе. И до чего приятно. Будто я в Африке на львов поохотился. Давно я так легко и приятно не чувствовал себя.

Да, Гумилев был доволен. Но по городу пополз, как дым, прибитый ветром, «слух» о «контрреволюционном выступлении Гумилева». Встречаясь на улице, два гражданина из «недорезанных» шептали друг другу, пугливо оглядываясь:

– Слыхали? Гумилев-то! Так и заявил матросне с эстрады: «Я монархист, верен своему государю и ношу на сердце его портрет». Какой молодец, хоть и поэт!

Слух этот, возможно, дошел и до ушей, совсем не предназначавшихся для них. Вывод: Гумилев монархист и активный контрреволюционер – был, возможно, сделан задолго до ареста Гумилева.

...Шесть часов вечера. Падает снег. Я иду домой с родственных именин. По Бассейной. Я сегодня ни в Студии, ни в «Живом слове» не была. И не видела Гумилева.

Меня ждут дома. Но я сворачиваю на Преображенскую. Ничего, опоздаю к обеду – к этому у меня уже привыкли.

Я поднимаюсь с черного хода. Парадный недавно заколотили – для тепла и за ненадобностью. «Нет теперь господ, чтобы по парадным шляться!»

Дверь кухни открывает Паша, старая, мрачная домработница, неизвестно как и почему служащая у Гумилева. То ли Аня – вторая жена Гумилева, дочь профессора Энгельгардта – оставила ее мужу в наследство, уезжая с новорожденной дочкой в Бежецк, то ли сам Гумилев, угнетенный холостым хозяйством, предложил мешочнице, продававшей на углу яблоки из-под полы:

– Хотите у меня работать? Сыты будете.

Как бы там ни было, но Паша верой и правдой служила Гумилеву, к их обоюдному удовольствию. Исчезла она – и опять по неизвестной мне причине, не то умерла, не то ей снова захотелось мешочничать – весной 1921 года.

Сейчас она еще здесь и встречает меня мрачно-фамильярным:

– Входите. Дома!

Эта Паша, несмотря на свою мрачность, была не лишена стремления к прекрасному. Иногда, когда Гумилев читал мне стихи, дверь комнаты, где мы сидели, вдруг открывалась толчком ноги и на пороге появлялась Паша.

Гумилев недовольно прерывал чтение.

– Что вам, Паша?

– А ничего, Николай Степанович, – мрачно отвечала Паша, уютно прислонившись к стенке, спрятав руки под передник. – Послушать пришла стишки. Только и всего.

И Гумилев, благосклонно кивнув ей, продолжал чтение, будто ее и не было в комнате. Как-то он все же спросил ее:

– Нравится вам, Паша?

Она застыдилась, опустила голову и прикрыла рот рукой:

– До чего уж нравится! Непонятно и чувствительно. Совсем как раньше в церкви бывало.

Ответ этот поразил Гумилева:

– Удивительно, как простой народ чувствует связь поэзии с религией! А я и не догадывался.

Впустив меня, Паша возвращается к примусу, а я, стряхнув снег с шубки и с ног, иду через холодную столовую.

Никогда я не входила к Гумилеву без волнения и робости. Я стучу в дверь.

– Войдите!

И я вхожу.

Низкая комната, мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь...

Впрочем, я лучше приведу полностью все это стихотворение, написанное мною под Рождество 1920 года:

Белым полем шла я ночью,
И странник шел со мной.
Он тихо сказал, качая
Белоснежной головой:
– На земле и на небе радость —

Сегодня Рождество!
Ты грустна оттого, что не знаешь, —
Сейчас ты увидишь его.
И поэт прошел предо мною,
Сердцу стало вдруг горячо.

И тогда сказал мне странник:
– Через правое взгляни плечо.

Я взглянула – он был печальный,

Добрый был он, как в стихах своих,
И в небе запели звезды,
И снежный ветер затих.

И опять сказал мне странник:
– Через левое плечо взгляни.
Я взглянула.
Поднялся ветер,
И в небе погасли огни.
А он стал злой и веселый,
К нему подползла змея,
Под тонкой рукой блеснула
Пятнистая чешуя.

Год прошел и принес с собою
Много добра и много зла,
И в дом пять, по Преображенской,
Я походкой робкой вошла:

Низкая комната. Мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь.
Вот сейчас выползет черепаха,
Пролетит летучая мышь...
Но все спокойно и просто,
Только совсем особенный свет:

У окна папиросу курит
Не злой и не добрый поэт.

Да, все совсем так, как в моем стихотворении. Все правильно – и разбросанные повсюду книги, и теплая тишь, и сказочное ощущение, что «вот сейчас выползет черепаха, пролетит летучая мышь», и «особенный свет», таинственно освещающий курящего Гумилева. Свет горячей печки. Ведь Гумилев курит не у окна, а у печки.

Гумилев встает и церемонно здоровается со мной, прежде чем помочь мне снять шубку. Он совсем не удивлен моим неожиданным приходом, хотя вчера было условлено, что мы сегодня не увидимся.

– Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете.

– Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам. Я шла домой.

Гумилев пожимает плечами.

– Шли домой, а пришли ко мне. Оттого, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот – вы пришли. Против своей воли пришли.

Я не знаю, шутит он или говорит серьезно. Но я стараюсь попасть ему в тон:

– Должно быть, я действительно почувствовала. И потому пришла к вам.

Он пододвигает зеленое креслице к печке.

– Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело, – искренно и просто признается он. Даже голос его звучит иначе, чем всегда, тише и мягче. – Как я одинок, Господи! Даже поверить трудно.

– Одиноки? – недоверчиво переспрашиваю я. – Но ведь у вас столько друзей и поклонников. И жена, дочь и сын, и брат. И мать.

Он нетерпеливо машет рукой.

– Ах, все это не то! Это все декорация. Неужели вы не понимаете? У меня нет никого на свете. Ни одного друга. Друзей вообще не существует. До чего я одинок! Даже поверить нельзя. Я всегда сам по себе. Всегда «я», никогда ни с кем не «мы». И до чего это тяжело.

Он вздыхает, глядя в огонь.

Я понимаю, что ему очень тяжело, очень грустно. Я молчу, не зная, чем ему помочь. И можно ли вообще ему помочь? Что ему сказать? Что?

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное снизу пламенем печки. Один из его косящих глаз продолжает смотреть в огонь, другой выжидательно останавливается на мне.

Я, как всегда, чувствую себя неловко под его раздвоенным взглядом. Я растерянно моргаю и молчу. Все утешения кажутся мне такими ничтожными и глупыми.

Он продолжает молчать, и мне становится невыносимо его молчание. И этот взгляд. Мне хочется вскочить, схватить его за руку и вместе с ним побежать по снежным улицам в Дом литераторов.

Там светло, шумно и многолюдно. Там всегда можно встретить Кузмина с Юрочкой Юркуном. И мало ли еще кого?

Но я молчу. И Гумилев, глядя на меня, вдруг неожиданно улыбается. Конечно, он смеется надо мной. У меня, должно быть, от смущения и незнания, что сказать, очень комичный вид. Но я отвечаю улыбкой на его улыбку.

– Вот мне и легче стало, – говорит он повеселевшим голосом. – Просто от вашего присутствия. Посмотрел на ваш бант. Такая вы забавная, в особенности когда молчите. Как хорошо, что вы пришли.

Да, очень хорошо. В этот снежный зимний вечер он не говорил, как обычно, о поэзии, поэтах и стихах, а только о себе, о своем одиночестве, о смерти.

– Все мы страшно, абсолютно одиноки. Каждый замурован в себе. Стучи не стучи, кричи не кричи, никто не услышит. Но ничто не спасает от одиночества, ни влюбленность, ни даже стихи. А я к тому же живу совсем один. И как это тягостно! Знаете, я недавно смотрел на кирпичную стену и завидовал кирпичикам. Лежат так тесно прижавшись друг к другу, все вместе, все одинаковые. Им хорошо. А я всюду один, сам по себе. Даже в Бежецке. В первый же день мне становится скучно. Я чувствую себя не на своем месте даже в своей семье. Мне хочется скорее уехать, хотя я к ним всем очень привязан и очень люблю свою мать. – Он разводит руками. – А вот поймите, я там чувствую себя еще более одиноким, чем здесь.

Он поправляет игрушечной саблей горящие в печке поленья и продолжает:

– Я в последнее время постоянно думаю о смерти. Нет, не постоянно, но часто. Особенно по ночам. Всякая человеческая жизнь, даже самая удачная, самая счастливая, – трагична. Ведь она неизбежно кончается смертью. Ведь как ни ловчишься, как ни хитри, а умереть придется. Все мы приговорены от рождения к смертной казни. Смертники. Ждем – вот постучат на заре в дверь и поведут вешать. Вешать, гильотинировать или сажать на электрический стул. Как кого. Я, конечно, самонадеянно мечтаю, что

Умру я не на постели
При нотариусе и враче...

Или что меня убьют на войне. Но ведь это, в сущности, все та же смертная казнь. Ее не избежать. Единственное равенство людей – равенство перед смертью. Очень банальная мысль, а меня все-таки беспокоит. И не только то, что я когда-нибудь, через много-много

лет, умру, а и то, что будет потом, после смерти. И будет ли вообще что-нибудь? Или все кончается здесь на земле: «Верю, Господи, верю, помоги моему неверию...»

Он на минуту замолкает, глядя на пляшущее в печке пламя. И вдруг, повернувшись ко мне, неожиданно предлагает:

– Давайте пообещаем друг другу, поклянемся, что тот, кто первый умрет, явится другому и все, все расскажет, что там.

Он протягивает мне руку, и я, не колеблясь, кладу в нее свою.

– Повторяйте за мной, – говорит он медленно и торжественно. – Клянусь явиться вам после смерти и все рассказать, где бы и когда бы я ни умерла. Клянусь.

Я послушно повторяю за ним:

– Клянусь!

Он, не выпуская моей руки, продолжает еще торжественнее:

– И я клянусь, где бы и когда бы я ни умер, явиться вам после смерти и все рассказать. Я никогда не забуду этой клятвы, и вы никогда не забывайте ее. Даже через пятьдесят лет. Даже если мы давно перестали бы встречаться. Помните, мы связаны клятвой.

Он выпускает мою руку, и я прячу ее в карман юбки. Мне становится очень неудобно. Что я наделала? Зачем я поклялась? Ведь я с детства до ужаса, до дрожи боюсь привидений и всяких сношений с загробным миром.

– Естественно и логично, что я умру первой. Но знать ничего нельзя. Молодость, к сожалению, не защищает от смерти, – серьезно продолжает он и вдруг перебивает себя: – Что это вы как воробей наохлились? И отчего вы такая бледная? Неужели испугались?

Я энергично трясую головой, стараясь улыбнуться:

– Нет. Совсем нет.

– Ну и слава Богу! Пугаться нечего. Ведь и я, и вы доживем до самой глубокой старости. Я меньше чем на девяносто лет не согласен. А вы, насколько мне известно, хотите дожить до ста. Так ведь?

– До ста с хвостиком, – поправляю я. – К тому времени, наверно, изобретут эликсир долголетия.

– Непременно изобретут, – соглашается он. – Как мне нравится в вас это желание жить как можно дольше! Ведь обыкновенно молодые девушки заявляют: «Я хочу умереть в двадцать пять лет. Дальше жить неинтересно». А вы – сто с хвостиком! – Он смеется. – Молодец! Ведь чем дольше живешь, тем интереснее. И, я уверен, самое лучшее время – старость. Только в старости и в детстве можно быть совсем, абсолютно счастливым. А теперь хорошо бы чаю попить. – Он встает. – Пойдем скажем об этом Паше.

Мы идем на кухню. Но кухня пуста. Паши нет.

– Должно быть, пошла хвоститься за хлебом в кооператив, – говорит Гумилев. – Ничего, я хитрый, как муха, и сам могу приготовить чай.

Он наливает воду в большой алюминиевый чайник, снимает кастрюльку с примуса и ставит на него чайник. Все это он проделывает с видом фокусника, вынимающего живого кролика из своего уха.

Мы садимся за кухонный стол и ждем, пока вскипит вода. Ждем долго.

– Удивительно некипящая, глупая вода, – замечает Гумилев. – Я бы на ее месте давно вскипел.

И как бы в ответ крышка чайника начинает громко хлопать.

– Вот видите, – торжествует Гумилев, – обиделась и сразу закипела. Я умею с ней обращаться. Вода, как женщина, – надо ее обидеть, чтобы она вскипела. А то бы еще час ждали.

Мы возвращаемся к печке пить чай.

Гумилев достает из шкафа кулек с «академическим изюмом».

– Я сегодня получил академический паек. И сам привез его на саночках, – рассказывает он. – Запрягся в саночки и в своей оленьей дохе чувствовал себя оленем, везущим драгоценный груз по тайге. Вы бы посмотрели, с какой гордостью я выступал по снегу. – И вдруг перебивает себя: – А обещание свое вы никогда не забываете. Никогда. И я не забуду...

Но Гумилев так и не сдержал своего обещания и не являлся мне.

Только раз, через несколько дней после его расстрела, я видела сон, который хотя и отдаленно, но мог быть принят за исполнение обещания. За ответ.

Тогда же я написала стихотворение об этом сне:

Мы прочли о смерти его.
Плакали горько другие.
Не сказала я ничего,
И глаза мои были сухие.

А ночью пришел он во сне
Из гроба и мира иного ко мне,
В черном старом своем пиджаке,
С белой книгой в тонкой руке.

И сказал мне: плакать не надо,
Хорошо, что не плакали вы.
В синем раю такая прохлада,
И воздух легкий такой,
И деревья шумят надо мной,
Как деревья Летнего сада...

С. К. Маковский в своих воспоминаниях «На Парнасе “Серебряного века”» совершенно честно описал того Гумилева, которого видел и знал. Но до чего этот Гумилев не похож на моего!

Не только внутренне, но даже внешне. Маковский пишет, что Гумилев был блондин среднего роста, тонкий и стройный, с «неблагообразным лицом, слегка косящий, с большим мясистым носом и толстыми бледными губами».

Портрет этот относится к 1909 году.

Я же увидела Гумилева только в конце 1918-го. Но все же вряд ли он мог так измениться.

Гумилев сознавал, что сильно косит, но, как ни странно, гордился этим как особой «божьей отметиной».

– Я разноглазый. И дети мои все разноглазые. Никакого сомнения, что я их отец, – с удовлетворением повторял он.

Гумилев находил свои руки поразительно красивыми. Как и свои уши. Его уши, маленькие, плоские и хорошо поставленные, были действительно красивы. Кроме них, решительно ничего красивого в нем не было.

Он не сознавал своей «неблагообразности» и совсем не тяготился ею. Напротив, он часто говорил, что у него очень подходящая для поэта внешность.

Николай Оцуп в своей монографии о Гумилеве, прочитанной им в Сорбонне и потом напечатанной в «Опытах», вывел из некрасивости Гумилева целую теорию, объясняющую его поэтический и жизненный путь. Там же Оцуп доказывает, что «Гондла» – автобиографическое произведение и что Гумилев чувствует себя горбуном.

Все это, конечно, чистая фантазия, и я удивляюсь, как Оцуп, хорошо знавший Гумилева, мог создать такую неправдоподобную теорию.

С духовным обликом, по Маковскому, дело обстоит еще хуже. Гумилев, в его описании, какой-то простачок-недоучка, более чем недалекий, одержимый поэзией и ничем, кроме поэзии, не интересующийся.

Гумилев действительно был «одержим поэзией», но ни простачком-недоучкой, ни недалеким он не был.

Мне не раз приходилось слышать фразу: «Гумилев был самым умным человеком, которого мне довелось в жизни встретить».

К определениям «самый умный» или «самый талантливый» я всегда отношусь с недоверием.

«Самым умным» назвать Гумилева я не могу. Но был он, безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблесками и, этого тоже нельзя скрыть, с провалами и непониманиями самых обыкновенных вещей и понятий.

Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из сотрудников «Всемирной литературы» вульгарным.

– Ты ошибаешься, Осип. Он не может быть вульгарным – он столбовой дворянин.

Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил:

– Вульгарным может быть разночинец, а не дворянин, запомни.

Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он, понятно, дворянином не был.

Конечно, это могло быть только позой со стороны Гумилева, но Мандельштам насмешливо подмигнул мне и сказал, когда мы остались одни:

– Не без кретинизма ваш мэтр.

Необразованным Гумилева назвать никак нельзя было. Напротив. Он прочел огромное количество книг, и память у него была отличная.

Он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую и персидскую.

Неправильно также, что он ограничивался изучением одной поэзии. Он считал, что поэту необходим огромный запас знаний во всех областях – истории, философии, богословии, географии, математике, архитектуре и так далее.

Считал он также, что поэт должен тщательно и упорно развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Что надо учиться видеть звуки и слышать цвета, обладать слышащими глазами и зрячими ушами, чтобы воспринимать жизнь во всей ее полноте и богатстве.

– Большинство людей, – говорил он, – полуслепые и, как лошади, носят наглазники. Видят и различают только знакомое, привычное, что бросается в глаза, и говорят об этом привычными штампованными готовыми фразами. Три четверти красоты и богатства мира для них пропадает даром.

В своих воспоминаниях Маковский уверяет, что Гумилев не знал ни одного иностранного языка. Это не так. Французский язык он знал довольно хорошо. Правда, известный факт перевода «chat Minet»¹⁸ не свидетельствует об этом. Непонятно, как он мог спутать chat Minet с православными Четьи-Минееми, которые француженка-католичка никак, конечно, читать не могла.

И все же, несмотря на злосчастного chat Minet, Гумилев свободно, хотя и с ошибками – в них он не отдавал себе отчета – говорил и писал по-французски. И читал даже стихи а *livre ouvert*¹⁹ – трудных и сложных поэтов, как Heredia, Mallarmé, Rimbaud²⁰ – и переводил их не задумываясь очень точно.

¹⁸ «Кот Минэ» (фр.).

¹⁹ С листа (фр.).

С английским дело обстояло хуже, хотя Гумилев провел несколько месяцев в Англии и рассказывал мне, что на большом обеде у какого-то лорда он рассказывал о своих путешествиях по Африке.

Я сомневаюсь, чтобы гости лорда что-нибудь поняли. Выговор у него был отчаянный, но читал он довольно бегло. Немецкого языка он не знал и жалел, что не знает. Он считал его лучшим, после русского, для стихов. Он иногда заставлял меня читать ему немецкие стихи – балладу Шиллера «Der Handschuh»²¹ он особенно любил. Слушал он, непременно прислонясь к стене, сложив руки на животе – изображая прислугу Пашу, и, подражая ей, говорил, вздыхая: «Красиво! Непонятно и чувствительно! Если бы не лень, обучился бы».

Но думаю, что обучиться ему мешала не только лень, но и отсутствие способностей к языкам, как и ко многому другому.

Гумилев очень любил сладкое. Он мог «ликвидировать» полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек.

– Я не только лакомка. Я едок-объедало, – с гордостью говорил он. – Я могу один съесть целого гуся.

Но это явное хвастовство. Гуся он в те дни никак съесть не мог – по простой причине, что гусей тогда и в помине не было.

Аппетит у него действительно был большой. Когда через год открылись «нелегальные» столовые, мне часто приходилось присутствовать при его «пантагрюэлевских трапезах».

– Приглашаю вас, – говорил мне Гумилев, выходя из Студии, – на пантагрюэлевскую трапезу, – и мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштаттской, ничем не напоминавшую ресторан.

В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита посетителей – в спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой.

Гумилев обыкновенно усаживался в столовой, в конце стола.

Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной бумаги, потом, подозвав хозяйку, заказывал ей:

– Борщ. Пирог с капустой. Свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем. С клубничным вареньем.

И только заказав все, оборачивался ко мне:

– А вы? Берите что хотите.

Я неизменно благовоспитанно отвечала:

– Спасибо. Я сыта.

И Гумилев, не удивляясь тому, что я «сыта», не споря, соглашался:

– Барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет.

Я наблюдала за своим стаканом чая, с каким наслаждением он «ликвидировал» одно блюдо за другим, не переставая говорить о стихах.

Сейчас меня удивляет, что я, голодная – я тогда всегда была голодна, – могла спокойно слушать его, глядя на «свиную отбивную в сухарях», чувствуя ее запах. Ведь я столько месяцев не ела ни кусочка мяса. А это так вкусно! И как мне хочется обгрызть хоть оставшуюся у него на тарелке косточку.

– Вы напрасно отказались. Превкусная котлета! – говорит Гумилев и, обращаясь к хозяйке: – Дайте еще порцию!

У меня замирало сердце. Неужели он заказал эту «порцию» для меня! Но нет! Надежда напрасна. Он аккуратно съедает «еще порцию», не прерывая начатого разговора.

²⁰ Эредиа, Малларме, Рембо (фр.).

²¹ «Перчатка» (нем.).

Конечно, если бы я сказала: «Пожалуйста, дайте мне борщ, котлету и пирожное», он бы не выказал неудовольствия. Но раз я благовоспитанно отказалась, он не считает нужным настаивать, – по-плюшкински: «хороший гость всегда пообедавши».

Мне и сейчас непонятно, как можно есть в присутствии голодного человека.

Но раз я не заявляла о своем голоде, Гумилев попросту игнорировал его. Не замечал. В голову не приходило.

Его жена, Аня Энгельгардт, как все продолжали ее звать, однажды пожаловалась мне:

– Коля такой странный. Вчера на вечере в Доме поэтов мы подходили к буфету. Он ест одно пирожное за другим: «Бери, Аня, если хочешь». Вот если бы он положил мне на тарелку пирожное. А то он ест, а я только смотрю. Он даже не заметил.

Возможно, что он действительно не замечал. Он был очень эгоистичен и эгоцентричен. И к тому же мы с Аней сами были виноваты – не брали «что хотите» – от скромности и чрезмерной благовоспитанности. Такие глупые!

Аня Энгельгардт приезжала раз в год на несколько дней к мужу – рассеяться и подышать петербургским воздухом.

«Рассеяться» ей, бедной, действительно было необходимо. Она жила в Бежецке у матери и тетки Гумилева, вместе с дочкой Леночкой и Левой, сыном Гумилева и Ахматовой.

Гумилев не раз вспоминал при мне, как она в ответ на его вопрос – хочет ли она стать его женой? – упала на колени и всхлипнула: «Я не достойна такого счастья!»

Жизнь в Бежецке назвать «счастьем» никак нельзя было. Скорее уж там: «Было горе. Будет горе. Горю нет конца».

Аня Энгельгардт казалась четырнадцатилетней девочкой не только по внешности, но и по развитию.

Очень хорошенькой девочкой, с большими темными глазами и тонкими, прелестными веками. Я никогда ни у кого больше не видела таких век.

В то июльское воскресенье 1920 года, когда она открыла мне кухонную дверь, я, хотя и знала, что к Гумилеву на три дня приехала его жена, все же решила, что эта стриженная девочка-ломака в белой матроске, в сандалиях и коротких чулках никак не может быть женой и матерью.

Она же сразу признала меня и, как-то особенно извернувшись, звонко крикнула через плечо:

– Коля! Коля! Коля! К тебе твоя ученица пришла!

То, что я ученица ее мужа, она никогда не забывала. И это иногда выражалось очень забавно.

Так, уже после расстрела Гумилева она во время одного из моих особенно удачных выступлений сказала:

– И все-таки я отношусь к Одоевцевой как королева. Ведь я вдова Гумилева, а она только его ученица.

Но была она премилая девочка, и жилось ей не только в Бежецке, но и в Петербурге нелегко. Гумилев не был создан для семейной жизни. Он и сам сознавал это и часто повторял:

– Проводить время с женой так же скучно, как есть отварную картошку без масла.

Еще об эгоизме Гумилева.

Весной 1921 года обнаружилось, что Анна Николаевна, как он подчеркнуто официально звал свою жену, почему-то не может продолжать жить в Бежецке и должна приехать в Петербург.

К тому времени Паши уже не было. Вместе с Аней приехала и Леночка.

– Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочку, – жаловался Гумилев. – Мне для работы необходим покой. Да и Анна Николаевна устает от хозяйства и возни с Леночкой.

И вот Гумилев разрубил гордиев узел, приняв соломоново решение, как он, смеясь, говорил.

В Доме искусств тогда жило много писателей.

Гумилев решил перебраться в Дом искусств. В бывшую баню Елисеевых, роскошно отделанную мрамором. С потолком, расписанным амурами и богинями. Состояла она из двух комнат. У Гумилева был свой собственный «банный» кабинет.

– Я здесь чувствую себя древним римлянином. Утром, завернувшись в простыню, хожу босиком по мраморному полу и философствую, – шутил он.

Жить в Доме искусств было удобно. Здесь Гумилев читал лекции, здесь же вместе с Аней и питался в столовой Дома искусств.

Но возник вопрос: как быть с Леночкой? Детям в Доме искусств места не было. И тут Гумилев принял свое «соломоново решение». Он отдал Леночку в один из детдомов.

Этим детдомом, или, по-старому, приютом, заведовала жена Лозинского, его хорошая знакомая. Гумилев отправился к ней и стал ее расспрашивать, как живет детям в детдоме.

– Прекрасно. Уход, и пища, и помещение – все выше похвал, – ответила она. Она была одной из тех возвышенно настроенных интеллигенток-энтузиасток, всей душой преданных своему делу, – их было немало в начале революции. Гумилев улыбался.

– Я очень рад, что детям у вас хорошо. Я собираюсь привести вам мою дочку – Леночку.

– Леночку? Вы шутите, Николай Степанович? Вы хотите отдать Леночку в детдом? Я правильно поняла?

– Совершенно правильно. Я хочу отдать Леночку вам.

Она всплеснула руками:

– Но это невозможно. Господи!..

– Почему? Вы ведь сами сейчас говорили, что детям у вас прекрасно.

– Да, но каким детям? Найденным на улице, детям пьяниц, воров, проституток. Мы стараемся для них все сделать. Но Леночка ведь ваша дочь.

– Ну и что из этого? Она такая же, как и остальные. Я уверен, что ей будет очень хорошо у вас.

– Николай Степанович, не делайте этого! Я сама мать, – взмолилась она. – Заклинаю вас!

Но Гумилев только упрямо покачал головой:

– Я уже принял решение. Завтра же я привезу вам Леночку.

И на следующий день дочь Гумилева оказалась в детдоме.

Передавая мне этот разговор, Гумилев недоумевал:

– Как глубоко буржуазные предрассудки. Раз детям хорошо в детдоме, то и Леночке там будет хорошо. Смешно не пользоваться немногими удобствами, предоставленными нам. Тогда и хлеб и сахар по карточке брать нельзя – от большевиков.

Был ли Гумилев таким эгоистом? Таким бессердечным, жестоким, каким казался?

Нет, конечно, нет!

Он был добр, великодушен, даже чувствителен. И свою дочку Леночку очень любил. Он уже мечтал, как он будет с ней гулять и читать ей стихи, когда она подрастет.

– Она будет – я уверен – умненькая, хорошенькая и милая. А когда она влюбится и захочет выходить замуж, – говорил он со смехом, – я непременно буду ее ревновать и мучиться, как будто она мне изменила. Да, отцы ведь всегда ревнуют своих дочерей – так уж мир устроен.

Он никогда не проходил мимо нищего, не подав ему. Его холод, жестокость и бессердечие были напускными. Он ими защищался как щитом.

– Позволь себе только быть добрым и слабым, сразу все бросятся тебе на горло и загрызут. Как раненого волка грызут и сжирают братья-волки, так и братья-писатели. Нравы у волков и писателей одинаковые.

– Но вы ведь – я знаю – очень добры, Николай Степанович, – говорила я.

– Добр? – Гумилев пожимал плечами. – Возможно, если бы я распустил себя, то был бы добр. Но я себе этого не позволяю. Будешь добрым – растаешь, как масло на солнце, и поминай как звали поэта, воина и путешественника. Доброта не мужское качество. Ее надо стыдиться, как слабости. И предоставить ее женщинам.

Гумилев действительно стыдился не только своей доброты, но и своей слабости. От природы у него было слабое здоровье и довольно слабая воля. Но он в этом не сознавался никому, даже себе.

– Я никогда не устаю, – уверял он. – Никогда.

Но стоило ему вернуться домой, как он надевал войлочные туфли и садился в кресло, бледный, в полном изнеможении.

Этого не полагалось замечать, нельзя было задавать ему вопроса:

– Что с вами? Вам нехорошо?

Надо было просто «не замечать», взять книгу с полки или перед зеркалом «заняться бантом», как он говорил.

Длились такие припадки слабости всего несколько минут. Он вставал, отряхивался, как пудель, вылезший из воды, и как ни в чем не бывало продолжал разговор, оборвавшийся его полубморочным молчанием.

– Сократ говорил: «Познай самого себя». А я говорю: «Победи самого себя». Это главное и самое трудное, – часто повторял он. – Я, как Уайльд, – побеждаю все, кроме соблазна.

Он вечно боролся с собой, но не мог побороть в себе «paresse-délice de l'âme»²² – по Ларошфуко, желания валяться на кровати, читая не Ронсара или Клеменса Брентано, а «Мир приключений», – и жаловался мне на себя, комически вздыхая.

«Мира приключений» он стыдился как чего-то неприличного и прятал его под подушку от посторонних глаз. Зато клал на подушку «напоказ» для посетителей том «Критики чистого разума» или «Одиссею», хотя он их больше «ни при какой погоде не читал».

Он был вспыльчив, но отходчив. Рассердившись из-за какого-нибудь пустяка, он принимал скоропалительное решение:

– Никогда не прошу. Никогда не помирюсь. Кончено!

Но на следующий же день встречался и разговаривал с тем, с кем навсегда все было «кончено», как ни в чем не бывало.

– Главное не объясняться. Никаких «я тебя», «ты меня», которые так любят женщины. Запомните это правило. Оно вам пригодится в жизни – никаких «выяснений отношений», в особенности любовных. Ах, если бы Ахматова не говорила с первого же года: «Николай, нам надо объясниться...» На это я неизменно отвечал: «Оставь меня в покое, мать моя!...»

Был он и довольно упрям, что тоже скорее свидетельствует о слабой воле. Сколько я ни встречала упрямых людей, все они были слабовольны.

Гумилев признавался:

– Я знаю, что не прав, но сознаться в этом другому мне трудно. Не могу. Как и просить прощения. Зато терпеть не могу, когда у меня просят прощения. Надо забывать. Раз забыто, так и прощено.

– А как же, Николай Степанович, афоризм: «Мужчина прощает, но не забывает. Женщина не прощает, но забывает», – значит, вы поступаете по-женски? Вы женственны?

Но упрек в женственности возмущает Гумилева:

²² Блаженная леность души (фр.).

– Вздор. Чепуха. Женщины внимательны на обиды, внимательны до ужаса. Вы, например, не забываете ни одной обиды, никакого зла.

– И никакого добра, – добавляю я, – у меня хорошая память. Но может быть, это во мне мужская черта?

Гумилев смеется:

– Ну знаете, мужских черт в вас днем с огнем не сыщешь. Вас бы в Средние века сожгли на костре как ведьму. И не только оттого, что вы рыжая.

Я говорю:

– Вот и опять обида. Я ее прощу, но не забуду.

Гумилев продолжает смеяться:

– Быть названной ведьмой – комплимент, а не обида, в особенности для пишущей стихи. Зинаида Гиппиус очень гордилась тем, что ее считают и даже в печати называют ведьмой. Ведьмовское начало схоже с вдохновением. Ведьмы сами были похожи на стихотворения. Вам скорее лестно, что вас сожгли бы на костре. Непременно сожгли бы. И правильно бы поступили.

На следующий день я принесла Гумилеву стихи:

Вьется вихрем вдохновенье
По груди моей и по рукам,
По лицу, по волосам,
По цветущим рифмами словам.
Я исчезла. Я – стихотворенье,
Посвященное вам.

Гумилев, что с ним не часто случалось, одобрил их и меня:

– У поэта должно быть плюшкинское хозяйство. И веревочка пригодится. Все, что вы слышали или читали, тащите к себе, в стихи. Ничего не должно пропадать даром. Все для стихов.

Стихи я тогда писала каждый день. По совету, вернее, даже по требованию Гумилева. Он говорил: «День без новых стихов пропавший день».

Я ежедневно давала Гумилеву свои стихи на суд – «скорый и немилостивый», как он сам его определил.

Как-то я пришла к нему с букетом первой сирени. Я весной и летом постоянно ходила с цветами. Выходя из дома, я покупала у уличных мальчишек, будущих беспризорных, цветы и так и носила их с собой целый день, воображая, что я гуляю по саду, где цветет сирень, жасмин и черемуха.

Гумилеву очень нравилось мое «хождение с цветами», как он его называл. Он сам с удовольствием принимал участие в прогулках с черемухой или сиренью, в игре в цветущий сад и даже сочинил о наших прогулках с цветами строфу:

Снова идем мы садами
В сумерках летнего дня,
Снова твоими глазами
Смотрит весна на меня.

Но сегодня, хотя день солнечный и голубой – настоящий «прогульный день», по его выражению, он не желает выходить из дома.

– Нет, лучше позанимаемся, садитесь, слушайте и отвечайте.

Он берет из моих рук сирень и кладет ее передо мной на стол.

– Представьте себе, что вы еще никогда не видели сирени, не знаете ее запаха, даже не трогали ее, – что вы скажете о ней неизбежными, нешаблонными словами?

И я как могу стараюсь описать сирень, ее влажную хрупкость и благоухание и двенадцатилепестковую звездочку, приносящую счастье.

Он внимательно выслушивает меня.

– Совсем неплохо. А теперь стихами то же самое или что хотите о сирени, без лишних слов, ямбом. Не более трех строф. Не задумываясь. Даю вам пять минут.

Я зажмуриваюсь от напряжения и почти сразу говорю:

Прозрачный, светлый день,
Каких весной немало,
И на столе сирень
И от сирени тень.
Но хочет Гумилев,

Чтобы без лишних слов
Я б ямбом написала
Об этой вот сирени
Не более трех строф
Стихотворенье.

Брови Гумилева удивленно поднимаются. В его раскосом взгляде – один глаз на меня, другой в сторону на сирень – вспыхивают искры.

– Хорошо. Даже очень. Вы действительно делаете мне честь как ученица. Вы моя ученица номер первый. Гордость моей Студии. Предсказываю вам – вы скоро станете знаменитой. Очень скоро.

Сердце мое, вылетев из груди, бьется в моем горле, в моих ушах.

Не может быть! Неужели? Наконец! Наконец-то. Гумилев хвалит меня, и еще как!

Я вскакиваю и начинаю кружиться по кабинету. Гумилев недовольно смотрит на меня.

– Не кружитесь волчком, вы собьете меня с ног. Да перестаньте же!

Но я не перестаю. Я кружусь от восторга, захлестывающего меня.

– Вы скоро будете знаменитой, – повторяю я нараспев.

– Господи! – вздыхает Гумилев. – Как вас унять?

И вдруг он, подойдя ко мне, двумя руками берет меня за талию. Мне кажется, что он хочет кружиться и танцевать со мной. Но ноги мои уже не касаются пола. Я в воздухе. Он поднимает меня. И вот я уже сижу на шкафу, и он притворно строго говорит, грозя мне пальцем:

– Сидите тут тихо. Совсем тихо. Мне надо докончить перевод. Не мешайте мне.

Я сижу в полном недоумении на шкафу, свесив ноги. Что же это такое?

Гумилев, посадив меня на шкаф, поворачивается ко мне спиной и возвращается к столу. Он сбрасывает мою сирень на пол – и раскладывает перед собой толстую рукопись. Что же это такое в самом деле?

Сидеть на шкафу неудобно. Паша, по-видимому, никогда не вытирает пыль на шкафу, и он оброс ею, как мохом. От пыли и от обиды щекочет в носу. Но я молчу. Я выдерживаю характер.

Страницы рукописи шуршат. Красный карандаш в руке Гумилева делает пометки на полях. Гумилев молча перелистывает рукопись. Он ни разу даже не повернул головы, не взглянул на меня.

Я не выдерживаю:

– Николай Степанович. Меня ждут дома!

Гумилев вздрагивает, как от неожиданности, и вот уже он стоит передо мною.

– Ради Бога, простите! Я совсем забыл. Мне казалось, что вы давно ушли.

Притворяется он или действительно забыл обо мне? В обоих случаях обидно, во втором даже еще обиднее.

Он осторожно снимает меня со шкафа.

Мое платье и руки перепачканы пылью. Он достает щетку:

– Почиститесь. Или давайте лучше я.

Но я отстраняю щетку. Я слишком оскорблена.

– Не надо. Я спешу. И так пойду. – Я натягиваю перчатки на запыленные руки. Молча.

С видом оскорбленного достоинства.

– Неужели вы сердитесь?

Я поднимаю с пола сирень. Иду на кухню.

– Нисколько не сержусь. Мне надо домой, – говорю я сдержанно и холодно.

Глупо показывать обиду, да он все равно не поймет.

Но он, кажется, понимает.

Он достает с полки большой мешок.

– Вот возьмите. Я приготовил для вас. Тут двадцать селедочек из академического пайка.

На хлеб выменяете.

От селедочек я не отказываюсь. Селедочки действительно можно выменять на хлеб. Или на сахар. Пригодятся. Еще как пригодятся.

– Спасибо, – говорю я так же холодно. И беру мешок с селедочками и мой полузавядший букет сирени.

Гумилев открывает передо мной кухонную дверь.

– Не сердитесь. И помните, вы действительно скоро будете знамениты.

Я иду домой. Мешок с селедочками очень тяжелый и оттягивает руки. Нести его и сирень неудобно. Бросить сирень? Но я прижимаю ее к груди, придерживая подбородком. И улыбаюсь мечте о будущей славе.

Нет, я не предчувствую, не догадываюсь, что предсказание Гумилева «вы скоро будете знаменитой» действительно исполнится не когда-нибудь там, а молниеносно скоро...

Как это ни странно, меня «открыл» не мой учитель Гумилев, а Георгий Иванов. Произошло это важное в моей жизни событие 30 апреля 1920 года.

Гумилев за несколько дней сообщил мне, что у него в будущую субботу в пять часов вечера прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. С «поэтическим смотром». Выступят Оцуп, Рождественский и я.

И Оцуп, и Рождественский хотя и молодые, но настоящие поэты. Я же только – студентка. Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно.

В субботу 30 апреля я прихожу к Гумилеву за полчаса до назначенного срока. Оцуп и Рождественский уже здесь, и оба, как и я, взволнованны.

«Смотр» почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула – для нас. На пороге столовой – два зеленых кресла – для Гумилева и Белого.

Гумилев распоряжается как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Оцуп.

– Николай Авдеевич, ты будешь читать первым. Каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем!

И мы репетируем.

– Громче. Отчетливее, – командует Гумилев, – держитесь прямо. Голову выше.

Я чувствую себя на сцене. Мной овладевает актерский «трак».

Напряженное ожидание. Наконец – стук в кухонную дверь.

– Андрей Белый прибыл! – громко объявляет Гумилев.

«Прибыл». В дворцовой карете с ливрейными лакеями или по крайней мере в сверкающем, длинном «бенце» прибыл, а не пришел пешком.

Гумилев спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу.

Мы все трое, как по команде, встаем.

Об Андрее Белом ходит столько легенд, что для меня он сам превратился в легенду. Мне не совсем верится, что он сейчас появится здесь.

В Студии рассказывают, что он похож на ангела. Волосы как золотое сиянье. Ресницы – опахала. Глаза – в мире нет подобных глаз. В него все влюблены. Нельзя не влюбиться в него. Вот увидите сами. Он – гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступают ему дорогу. В Москве, задолго до войны, все были без ума от него. Но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнахе, строил Гетеанум. С доктором Штейнером.

Потом он вернулся в Россию. Он здесь. И я сейчас увижу его.

Из кухни доносятся голоса. Слов не разобрать. Шаги...

Гумилев, особенно чопорный и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой... Но разве это Андрей Белый? Не может быть!

Маленький. Худой. Седые, легкие, как пух, волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое, бледное лицо. И большие, светло-голубые, сияющие, безумные глаза.

– Борис Николаевич, – голос Гумилева звучит особенно торжественно, – позвольте вам представить двух молодых поэтов: Николая Оцупа и Всеволода Рождественского.

Оцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются. Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Оцупа, восторженно заглядывая ему в глаза.

– Так это вы Оцуп? Я слышал. Я читал. Оцуп! Как же! Как же... – И, не dokonчив фразы, бросается к Рождественскому.

– Вы, как я и думал, совсем Рождественский. С головы до ног – Рождественский. Весь как на елке!

Рождественский что-то смущенно бормочет. Гумилев, хотя церемония представления явно разворачивается не по заранее им установленному плану, указывает на меня широким жестом:

– А это – моя ученица.

Без фамилии. Без имени.

Сияющие, безумные глаза останавливаются на мне.

– Вы – ученица? Как это прекрасно! Всегда, всю жизнь оставайтесь ученицей! Учитесь! Мы все должны учиться. Мы все ученики.

Он хватая мою руку, высоко поднимает ее и, встряхнув, сразу выпускает из своей. Потом быстро отступает на шаг и оглядывается. Будто сомневается, нет ли здесь еще кого-то, кого он не заметил, не одарил сиянием своих глаз и своего восхищения.

И вот он уже снова рядом с Гумилевым. Движения его легки, отрывчаты и неожиданны. Их много, их слишком много.

Он весь движение – руки простерты для полета, острые колени согнуты, готовы пуститься вприсядку. И вдруг он неожиданно весь застывает в какой-то напряженной, исступленной неподвижности.

Гумилев пододвигает ему кресло.

– А теперь, с вашего позволения, Борис Николаевич, начнется чтение стихов.

Белый кивает несколько раз.

– Стихи? Да, да. Непременно стихи. Стихи это хорошо!
Он садится, вытягивает шею, поворачивает голову в нашу сторону. Вся его поза подчеркивает, что он весь слух и внимание.

Первым, как было условлено, читает Оцуп. Спокойно. Внятно. Уверенно:

О, жизнь моя. Под говорливым кленом
И солнцем проливным и легким небосклоном,
Быть может, ты сейчас последний раз вздыхаешь...
Быть может, ты сейчас, как облако, растаешь...

Белый, встрепенувшись, начинает многословно и истово хвалить:

– Я был уверен... Я ждал... И все же я удивлен – лучше, еще лучше, чем я думал...

Но я не слушаю. Я, зажмурившись, повторяю про себя свои стихи. Только бы не забыть, не сбиться, не оскандалиться.

Дирижерский жест Гумилева в мою сторону.

– Теперь вы!

Я встаю – мы все всегда читали стихи стоя – и сейчас же начинаю:

Всегда, всему я здесь была чужая.
Уж вечность без меня жила земля...

Прочитав первое стихотворение, я делаю паузу и перевожу дух.

Но эта полминутная тишина выводит Белого из молчания и оцепенения.

Он весь приходит в движение. Его глаза сверкают. Голос звенит:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.